БЕГЛЕЦ

Павел Мейлахс

I

Сегодня Саша уезжал в Израиль. Он стоял у подъезда своего родного дома, под зарешеченной аркой, на сквозном ветру. Ветер был резкий, нетерпеливый, внезапно проподал, чтобы потом налететь, рвануть еще резче, злее. Был конец ноября, стояло холодное, светлое утро, уже зимнее, с легким подвижным снежком на заледеневших лужах. Последнее утро.

Саша не чувствовал ветра. Вернее он как-то механически сознавал, что мерзнет, что надо бы перейти куда-нибудь, где не так дует, но это как-то отдельно от себя, какая-то абстрактная мысль, и он все стоял и стоял. Он вообще ничего не чувствовал, он оцепенел, омертвел внутри, он только знал, что сегодня последнее утро. Последнее утро, последнее утро. Временами вдруг накатывала крупная, колотящая дрожь, было трудно ее скрыть, особенно, когда начинало трясти голову, как у старухи. Но он знал, что главное - соблюдать приличия. Приличия - прежде всего. Единственный спасательный круг. Но он был жив, и его глаз машинально фиксировал все, что проплывало перед ним. Он видел, как его двоюродный брат, не вынимая папиросы изо рта, занимался багажом, подтаскивал, устраивал все новые сумки, ловко гонял папиросу из одного угла рта в другой, иногда, сильно пыхнув несколько раз, возвращал ее к жизни, улыбался, переговаривался с тем, кто подавал ему из подъезда. Он все время ощущал присутствие родителей рядом, зеленую зимнюю куртку отца, черную шубу матери. Он слышал, как медленно спускается по лестнице жена с сыном Вовкой (четыре года), сын что-то выспрашивал у нее и выспрашивал, она что-то односложно отвечала чтобы отделаться, но сын, по своему обыкновению все не отставал.

Как-то появилась лучшая подруга жены с мужем, он ответил на их приветствие, стараясь, чтобы не тряслась челюсть, не стучали зубы, не дергались плечи - дрожь всегда охватывала его, когда надо было говорить, он и старался говорить как можно реже, только в случае крайней необходимости, отделывался какой-нибудь гримасой приличия. К тому же он чувствовал, что у него изменился, сел голос, а это тоже нарушение приличий. Еще были какие-то люди, родственники, знакомые, но их он уже не воспринимал. Кажется, была еще одна машина, потому что все в одну не влезали.

Вдруг что-то изменилось, во всем этом скоплении людей, в общей атмосфере. Он это смутно почувствовал, и что-то от него сейчас, кажется, требовалось делать. А, что? Уже все? Уезжаем? Как же, а присесть на дорогу? Так ведь уже сидели. Он покорно полез в машину. Рядом с ним что-то передвигали, устраивались, что-то попросили пока подержать, он не сразу понял, потом некоторое время сидел с каким-то предметом багажа. Не пересел поудобнее, не изменил положение рук, как ему дали, так и сидел, машинально терпя.

- Нос выше.

- А ты, батенька, как думал.

Он внутренне согласился с последней репликой. Даже не со словами, а с интонацией, с которой они были сказаны - покровительственно-сочувственной. Действительно, он ничего не думал. Ничего не думал вплоть до последнего дня, вернее до последней недели. Несколько дней назад он бродил по апраксинской толкучке, таким же светлым холодным утром, приглядываясь к ценам на сигареты, здесь они дешевле, чем в ларьках, но он хотел, раз уж решил посветить покупке сигарет известное время, купить их по самой низкой цене. Хороших, но дешево. И уже тогда оцепенение, омертвение, властвовало над ним, хотя и не так сильно, как сейчас; он машинально бродил по толкучке, спрашивая у восточных людей почем сигареты, почем сигареты; в довершение ко всему он заблудился и довольно еще долго бродил в поисках выхода, машинально все приглядываясь к сигаретам, хотя они уже были куплены. Вчера был устроен прощальный ужин. Он не притронулся к

еде, мысль об алкоголе была отвратительна. Он только дул и дул запивку, наливался. Он старался не думать о той катастрофе, которая его постигла, но все равно было не разогнуться под ее тяжестью, и он подливал, подливал безалкогольную сладкую воду. Родители были спокойны, попивали. Хуже всего было то, что по чистой случайности в этот вечер пожаловал в гости один знакомый родителей. Он говорил без умолку острил, вообще старался все время быть в центре внимания. Просто сидеть, разговаривать он не умел, ему необходимо было блистать. Он и блистал изо всей мочи. Даже в последний вечер перед отъездом старался быть центром внимания, хотя, вообще-то, центром внимания должен бы быть Саша. Но для гостя, наверно, слишком невыносима была мысль, что могут быть обстоятельства, при которых кому-то будут уделять внимания больше, чем ему самому. И Саша ненавидел гостя. Он смотрел на него подолгу, ненавидя, страдая, забывая отводить почаще глаза, чтобы это не выглядело неприличным. Но гость не замечал как и кто на него смотрит. И Саша страдал, ненавидел, а гость молол, острил, блистал. Один раз Саша вдруг заговорил. Понимаете, говорил он, полный отчаяния, когда хочешь уехать, думаешь только о плохом, что есть здесь, но когда подходит к тому, чтобы действительно уезжать… оказывается, что здесь есть много хорошего, чего ты раньше не замечал и только теперь заметил… И прежде всего это люди, которых ты любил! И если я даже приеду назад, того, прежнего, не вернешь, я уже буду другим, все будет другим… Так что уезжаю я навсегда. Он думал, что говорит что-то глубокое, верное. Но, как ему показалось, никто по-настоящему не понял его. Самого главного не понял. Последнего слова не получилось. Уже потом, когда он ездил на Мертвое море, экскурсоводша, прожившая в Израиле семнадцать лет, рассказывала: «Когда я увидела, что вот здесь стою я, а там, за стеклом, моя мама, тут только до меня дошло, что я делаю!». Хотя экскурсоводша рассказывала, конечно, не про это, но как-то само собой у нее прорвалось. Семнадцать лет уже прошло, а последние минуты прощания так и стоят перед глазами.

Машина медленно, аккуратно, выехала со двора, приостановилась перед большой дорогой, по которой неслись машины, подождала. Потом

вывернула на нее, быстро набрала скорость и полетела в потоке других машин, по прямой. Прощание с родным домом закончилось. Началась дорога в аэропорт.

Он сидел в машине, окаменев, сознавая только одно: конец. Газовая камера. Но даже сейчас он понимал, что все идет так, как и должно идти. У него даже не возникало инстинктивного, судорожного желания дать задний ход. Правда, теперь, когда этот адский маховик набрал такую инерцию, сама мысль об этом казалась безумием, но это было возможно - преодолеть внутренний барьер, потом озвучить свое решение, поставить всех перед фактом; сначала все будут огорошены, потом начнут колебаться, но он будет твердо гнуть свою линию, и маховик с трудом, но будет запущен в обратном направлении, набирая обратную инерцию; и через час, уже, наверное, в родном доме, за чашкой чая, мысль «А может все-таки ехать? Время-то еще есть» покажется таким же, если не большим, безумием, как сейчас мысль о том, чтобы остаться. Но дело было не в этом. Можно ли было еще остаться, нельзя - дело было не в этом. Он чувствовал, что обречен пройти через это. Бежать, он знал, ему было некуда.

Ему двадцать семь лет. А вчера было двадцать два. И он понял, как оно работает: завтра ему будет тридцать два, послезавтра сорок четыре и так далее. И никуда тут не деться. И все эти банальности вроде «время бежит, годы летят», которые он до какого-то возраста пропускал мимо ушей, никак не применяя к себе, имеют к нему самое прямое отношение, такое же, как и ко всем остальным. Исключений тут не бывает. Он слышал, или где-то читал, как чувствуют себя те, кто впервые попал на войну, если не все из них, то некоторые: сначала кажется, что это все понарошку, и ничего страшного не может случиться, но в первый раз увиденные оторванные конечности, вывороченные внутренности сразу меняют дело - вот это самое, да, это самое, может случиться и с тобой. Не понарошку, а вполне всерьез. И к своим двадцати семи годам он уже твердо знал, что попался. Он там, откуда не сбежишь.

Каждый день он ходил на работу. Дни тянулись, вернее не дни, а как будто один день. Толкотня при входе в метро, в метро, при выходе из метро. Вечная слякоть под ногами, нет дня, а только

утренние сумерки, вечерние сумерки. Вечный февраль. И ничего не менялось. Только в нем что-то менялось, медленно, еле заметно сдвигалось, сползало. Наверное, он постепенно терял надежду. Еле заметно, по капле, надежда оставляла его. Пустота наступала ото всюду. И с друзьями, друзьями своей юности, он встречался все реже. У каждого из них была уже своя жизнь, каждый делал что-то свое в одиночку. При встречах они держались как всегда, как десять лет назад, но того, прежнего, не было, того, что он когда-то так любил! Как-то незаметно оно исчезло. И уже не тянуло так друг к другу. И они встречались все реже.

Ну нет, так просто он не дастся! Он вырвется, вывернется из всего этого. Он вмажет по своей жизни кувалдой как по неудавшейся статуе, он закрутит себя рулеточным шариком - куда вынесет, туда вынесет, он забудет все, он забудет себя, он нырнет как можно глубже, чтобы вынырнуть в незнакомом месте, незнакомым себе человеком, чтоб не найти было концов. Он умрет, чтобы воскреснуть. Что бы ни случилось - хуже не будет. Хуже, чем теперь, когда его медленно засасывает это болото, и ничего не остается, как сидеть и наблюдать за собственным медленным погружением.

В аэропорту кошмар продолжался. Международный аэропорт, в котором он был первый раз, оказался не так набит людьми, как-то почище, подостойнее. Они стащили багаж в одно место и стояли, обступив его. До отлета оставалось еще много времени, многие часы, которые нужно было отсидеть, отстоять, отходить здесь. Выяснилось, что можно курить прямо в зале. Саша курил одну за одной, ходил по залу, сидел на каком-нибудь чемодане, пил пепси-колу из бутылки, с трудом жевал бутерброд; выходил иногда на улицу, где уже во всю валил снег; ветер трепал, мотал его по воздуху, было нестерпимо бело, после серого аэропортного зала. Он тупо смотрел на з и м н и й р о с с и й с к и й п е й з а ж. Он, не сознавая этого, хотел наглядеться напоследок. Наверно, считал, что так надо. Один раз, в зале, он случайно глянул на табло прибытия-убытия, и что-то всколыхнулось в душе, когда он увидел имена: Франкфурт, Лас-Пальмас. «Как велик мир» - не мог не подумать он, как свежевылупившийся утенок у Андерсена. И он почувствовал, еще до конца не веря, что здесь

выход, надежда. Сердце забилось учащенно, и как-то по-хорошему, как когда-то в былые времена, как не билось уже давно… Но часы тянулись и тянулись. Крохотный проблеск надежды угас, и через пару часов он уже не помнил о нем. Он был измотан многочасовым ожиданием; инстинктивно он желал, чтобы это поскорее кончилось, но и тошнотворный страх рос в нем по мере того, как близилось время перешагнуть роковую черту. С провожающими, с женой, он разговаривал мало. Он был отдельно, в своей скорлупе, и лишь изредка улыбался или что-то говорил из нее.

А потом пришло время взять всем по чемодану и пойти к тем перегородкам, куда пускают только тех, кто должен лететь. И это уже действительно был кошмарный сон. Он ничего уже не понимал, когда напрягая все силы тупо волок сумки, чемоданы за той чертой, куда его только что пропустили, и где уже больше не было помощников, кроме жены, которая тащила на руках сына и одновременно что-то из багажа. У нее выкатилась крупная порция слез из глаз, но больше слез не было. Провожающие теперь были отделены от них стеклянной стеной. А там за стеклом моя мама. Он ничего не понимал, он только следил за багажом и всерьез боялся упасть. Тут была какая-то очередь, и они стали в нее. Он поминутно, что-то его заставляло, оглядывался на стеклянную стену и видел там своих родителей. Они смотрели на него так, как смотрели всегда, когда провожали его надолго к бабушке, в пионерский лагерь, в больницу. Один раз, глядя на них, он вдруг представил, какое у него сейчас лицо, и ему стало страшно за них, страшно, что они видят его таким. Сквозь остекленелость он смутно чувствовал, что надо хотя бы улыбнуться, помахать рукой, как-то обытовить ситуацию. Но он не мог. Сил не хватало даже на это. А очередь между тем двигалась. И надо было постоянно подтаскивать чемоданы, продвигаясь вместе с ней. Всякий раз, когда он брался за чемодан, он боялся, что сейчас вдруг иссякнут силы, и чемодан перевесит его, и он ткнется в него мордой, и растянется на полу. Но он перетаскивал и перетаскивал чемоданы. И только в голове вертелось: приличия не соблюдены. Приличия не соблюдены. А если бы это была очередь в душегубку? Тогда бы он наложил в штаны и не

смог бы идти. Его бы волокли, воняющего, провисшего, как мешок. Подошла их очередь. Проверяли какие-то бумаги, о чем-то расспрашивали. И опять пропустили через какую-то перегородку. Какой-то этап они миновали. Сейчас надо пройти через узенькую дверку в следующее помещение. И оттуда уже не будет видно провожающих. Перед тем как войти туда, он оглянулся в последний раз. Родители были на том же месте, уже довольно далеко. И он вдруг широко помахал им рукой и несколько раз подпрыгнул что есть сил, наплевав на посторонних. И вошел в узенькую дверку. Все. Теперь они отдельно. И провожающим теперь нет смысла стоять, прильнув к стеклянной стене.

Он вошел в узенькую дверку, в следующее помещение. И вдруг… И вдруг все переменилось. И вокруг, и, главное, в нем самом. Он не мог в это поверить. Уже, казалось бы, все, конец, его уже положили в гроб, накрыли крышкой… Но это был не конец. Это было начало! Начало чего-то нового, удивительного, по чему так тосковала душа все последние годы, а он испугался, ничего не понял. Но теперь - вот оно. Все здесь разительно отличалось от того, что он оставил за узенькой дверью. Никакой аэровокзальной очереди, никакой маяты с багажом, проверок, толпы. Он попал в другой мир. Простор, спокойствие, достоинство. Чинные люди сидели, прохаживались, негромко разговаривали. Так и должно быть, вдруг подумал он. Странно, что еще три минуты назад… Тут же торговали сигаретами, напитками, всякими безделушками, все это сверкало по рекламному, по заграничному. Здесь уже была заграница. Здесь уже начиналась иммиграция. Он глубоко вздохнул, перевел дух. Расставаться с прошлой жизнью, с которой ты сроднился, оказывается, не так уж страшно, если думаешь, что впереди тебя ждет новая, лучшая. В каком-то сладостном опьянении он отправился бродить по залу. Его слегка пошатывало от всего пережитого, но теперь это было даже приятно. Как первая стопка водки на природе после долгого физического труда. Он летел за границу первый раз, и теперь чувствовал себя как будто принадлежащим к элите. Решил, что неплохо бы покурить, не торопясь прошествовал в туалет, там долго доставал сигарету, она все не доставалась, но это было тоже

приятно, он не злился, а наоборот растягивал удовольствие. Курил долгими затяжками, но с большими перерывами между ними, кайфовал. Не сразу заметил, что в дальнем углу лежит, весь развалившись, разметавшись, вдребезги пьяный мужик. Странно, как он прошел все эти проверки. Вошел другой мужик, направился к пьяному, начал теребить его, тормошить, ругать, бить. «Вставай скотина, падла, тебе ж лететь сейчас!» Тот не подавал признаков жизни. Тогда мужик подволок пьяного к раковине, плюхнул туда его ничего не чувствующую голову и открыл на полную холодную воду. Не помогало. Мужик не знал, что делать. Посмотрел на Сашу - полюбуйся мол. Саша ответил сдержанной неопределенной улыбкой. Потом докурил, вышел из туалета со спокойным достоинством. Когда в следующий раз зашел в туалет, пьяный все лежал в углу. Но уже, правда, слегка двигался и слегка мычал. С него стекала вода.

Вовка бегал по всему залу, забирался на все подряд. Его, похоже, все устраивало. Ну и слава богу. Саша отыскал глазами жену, подошел к ней. Здорово, правда? Он, кажется, только сейчас начал замечать ее. Она охотно улыбнулась в ответ: да, здорово. Для нее все это тоже было в новинку. Саша приобнял ее, и они, прислонившись друг к другу, простояли минуты полторы, отдыхая, успокаиваясь, умиротворяясь. Понимали, что что-то страшное уже позади. По крайней мере на данный момент. А дальше видно будет.

И вот они в самолете. Как-то совершенно естественно, незаметно, они оказались там, плавно перетекли. Самолет назывался «Боинг-747», опять что-то из области цветастых иностранных журналов. А теперь они летят в нем, совершенно запросто. На немного непривычном - иностранном - сиденье Сашу совсем развезло. Окончательно почувствовал себя иностранцем. Он наконец вырвался. Вырвался! Развалился в кресле поудобнее, расслабляясь, готовясь с комфортом провести здесь четыре с половиной часа. Оказалось, что в самолете есть телевизор, подвешенный к потолку. Приглядевшись, Саша заметил еще такой же в глубине салона и еще, телевизор за телевизором уходили в даль. Пока они были потухшими, безмолвствующими. Объявление на английском; с некоторым напряжением Саша понял, о чем говорил женский голос - надо

пристегнуть ремни и еще что-то, обычное в таких случаях. И тут же все телевизоры разом вспыхнули. Закружился какой-то еврейский хоровод, хлынула музыка - невыносимо прекрасная, диковинная и диковатая. Замелькали израильские виды, море, экзотическая зелень, все яркое, броское. У Саши захватило дух. Вот в какой мир они скоро прибудут!

Во время всего полета Саша приставал к стюардессам с вопросами, пользуясь случаем поговорить по-английски, усугубить в себе чувство иностранца. И фразы как-то сами собой конструировались почти мгновенно, со стороны можно было даже подумать, что он не конструирует фразы, а просто говорит; они так и лезли одна на другую, нечто вроде обильного выделения слюны при отравлении ртутью. Наверное, он им здорово надоел своей истеричной говорливостью, но они держались безукоризненно, что значит западный сервис, хоть Саша потом и начал побаиваться, что их терпение наконец лопнет. По телевизорам шли фильмы на английском, вглядевшись, Саша с удивлением узнал в одном из них сильно изуродованные «Двенадцать стульев». Как-то раз спросил у стюардессы, где сейчас летит самолет. «Над Турцией, наверно» - ответила стюардесса. Здорово. Карта мира действительно не врет. Где-то в хвосте самолета можно было курить, и Саша часто туда наведывался, вежливо беспокоя обслуживающий персонал, который катал по проходу свои тележки. Потом шел назад и пытался смотреть телевизор. Но время текло быстро. Не заметил, как «наш самолет совершил посадку в аэропорту Бен-Гурион».

Была уже ночь. Не разобрать, тепло или холодно. Теперь Саша впервые ощутил себя принадлежащим к кучке таких же иммигрантов, как и он сам, а раньше был как будто сам по себе. Впрочем, здесь иммигрантов называют репатриантами, что по отношению к Саше звучало насмешкой - у него евреем был только дед. Какие-то распорядители пригласили их пройти в зал прибытия, или что-то в этом роде, туда пришлось подниматься по лестнице. Сам зал был просторным, комфортным, с рядами элегантных скамеек со спинками. Саша с семейством расположился на одной из них. Вдоль одной из стен находился ряд комнаток, где каждый вновь прибывший должен был

зарегистрироваться - получить удостоверение репатрианта – «теудат оле», одно на семью. В эти комнатки сразу образовалась очередь, и Саша не проявил должной расторопности, оказался одним из последних. Была еще отдельная комнатка, только для мужчин. Саше это не понравилось. Наверное что-то связанное с армией. Пришлось, однако, и туда занять очередь. И опять потянулись часы ожидания. И даже курить здесь было нельзя, Саша сперва пытался было узнать, где тут можно курить, но потом махнул рукой. И он стал прохаживаться по залу, потому что кроме этого делать здесь было абсолютно нечего. Он чувствовал, что смертельно устал, чего только не было за сегодня, уж больше, кажется не переварить, но безумный, противоестественно, безобразно раздутый день все не кончался. Где-то посреди ожидания он обнаружил, что комнатка для мужчин больше не принимает. Ну и слава богу. Уже и чувства ожидания не было. Он просто тупо сидел, стоял, ходил. Иногда машинально подходил к одной из комнаток и смотрел. Принимающие чиновники были спокойны, вежливы, терпеливы. Говорили они по-русски, но с явным акцентом и не без труда. «Иностранцы» - по привычке подумал он и усмехнулся над собой. Хоть в Израиле и много русских, здесь для них работы не нашлось. Только однажды один из чиновников сказал ему: «Все выйдут отсюда в одно время. Чем больше ты здесь простоишь, тем меньше внизу придется ждать». Сказано было на чистом русском языке. Вернее нет, чистый русский язык бывает у иностранцев. Это было сказано человеком из того мира, из мира, откуда он только что прибыл. По виду он был физик или вроде того, Саша мог бы курить с ним на одной лестничной площадке, ехать рядом в троллейбусе, но - не довелось. И встретились они только здесь, по ту сторону.

У Саши был телефон, который ему дали еще там. За небольшие деньги, плаченные еще в России, какая-то фирма бралась обустроить их на первые дни приезда, рассказать им все, показать и помочь снять квартиру. Жить Саша собирался в районе Тель-Авива. Телефон этот с подписью «Женя» долго болтался у Саши, он все боялся его потерять, хотя постепенно стало казаться, что он вообще не нужен, и непонятно было, зачем помнить об этом клочке бумаги. Но теперь пришел его час. В очереди к комнатке перед ним оставалось пара

человек. И Саша вспомнил, что пора бы звонить, там назовут адрес, куда их должны отвести из аэропорта и где они будут жить первые несколько дней. Телефонных аппаратов здесь было много. Саша набрал заветный телефон, трубку взяли быстро. Так мол и так, объявился такой-то, как договаривались. На том конце провода что-то быстро заговорили, но ничего нельзя было разобрать: связь как будто постоянно прерывалась, с частотой, примерно, раз в две секунды, и получалось какое-то нечленораздельное заикание; В России такого было что-то не припомнить - там был или треск, или слишком тихо. Вот тебе и Израиль. Саша прокричал в трубку как можно членораздельнее, что позвонит с другого аппарата. На другом аппарате было то же самое. Саша напрягся. Это было крайне некстати. Повторять попыток он пока не стал, решил выждать, непонятно, правда, чего. Подошла их очередь. Там заполняли какие-то бумаги, потом спросили, куда он желает ехать. Саша объяснил ситуацию с телефоном. Те весьма удивились; он, потея, опять начал звонить. С пятой, наверное, попытки, связь наконец установилась. Адрес было трудно разобрать несмотря на хорошую слышимость - название на практически незнакомом языке, угадать, достроить было нельзя, нужно было уловить каждый звук. С напряжением он произнес то, что услышал, вслух: «Район Яд-Элиягу, улица Кирьяти, шесть. Яд-Элиягу, есть такой?» - метнулся он к чиновнице. Та усиленно, часто закивала: как же, есть. Быстро, коряво, он поскорее записал адрес. Теперь оставалось только сфотографироваться и на этом прием заканчивался.

Где-то внизу они получили свой багаж. У них теперь был теудат оле, еще какие-то направления в разные конторы и много наличных - их должно было хватить на оплату жилья за первые три месяца. Рядом с ними ожидал своего багажа небольшой чернявый человечек с темным лицом. «Я всю ночь бухал, - вдруг сказал он, обращаясь к Саше, - Меня швыряет. Ш-ш-выряет. Ну и что?»

Они выволокли свои сумки на улицу. Им показали место, где надо ждать специальное такси, которое их и повезет. Устроив получше багаж, Саша, наконец, перевел дух. Теперь надо только спокойно ждать, ехать и ложиться спать. Было все так же непонятно

- тепло или холодно. Одет он был так же, как и перед вылетом. Холодно не было, но не было и жарко. Такси подходили не так чтоб часто и ехали все куда-то не туда. В Яд-Элиягу никто не ехал. Так что ждать пришлось довольно долго.

Наконец подошло такси, шедшее в Яд-Элиягу. Погрузились туда, поехали. Ехали быстро, всю дорогу Саша не отрывался от окна, но ничего было не разобрать, какие-то неясные силуэты мелькали в темноте. Ехать пришлось довольно долго. Их высадили посреди небольшой улицы. Это и была Кирьяти, 6. Встречала их та самая Женя - оказалось, что она действительно существует. Полная, уже пожившая тетенька, низенькая, неказистая. Женя держалась ласково и чуть-чуть грустно. Что-то чувствовалось от обращения врача с больными. Да они и были чем-то вроде больных - иммигрантами-несмышленышами. Женя повела их к их временному жилью, пришлось несколько дольше, чем можно было ожидать, идти по каким-то доскам, проходить под каким-то навесом, в темноте, фонари туда не доставали. Вышли на маленький дворик. Женя отперла дверь, и они втащили багаж на темную веранду. Потом она бегло обошла с ними их новое жилище, показывая: вот ванна с туалетом, вот кухня, вот комната, вот еще одна. Шиком жилье не поражало, вообще что-то в нем было от подвала, какая-то задвинутость в глубь. На кухне Саша удивился, увидев на плите пустой коробок и рядом три или четыре спички - ему бы и в голову не пришло, что можно положить не целый коробок. Присели в одной из комнат. Женя была все так же ласкова, с легкой грустинкой. Поговорили немного о квартирах - цены, где бы лучше снять и т.д. Женя не стала долго рассиживаться, понимала, что они с ног валятся. Пожелала спокойной ночи на новом месте и сказала, чтобы завтра к девяти часам они были готовы: заедут люди из фирмы и повезут их открывать счет в банке и еще что-то. Значит, спать часа три, подумал Саша. Могли бы и дать выспаться. Но вслух ничего не сказал.

Жена пошла укладывать Вовку, а он вышел на дворик покурить. Покурить на новой земле, не наспех, не как попало, как в аэропорту, а обстоятельно, прочувствовать. Было очень темно, только откуда-то сверху доходил свет. Он снял куртку. Холодно не

стало. Потом свитер. Опять не холодно. Он стоял и не торопясь курил в одной рубашке. Было тепло. Это ночью, в конце ноября! Здорово. Сигарета кончилась слишком быстро. Еще немного постояв, он пошел спать, жена уже приготовила постель. Лег и заснул… в тот же миг. Он не помнил, когда в последний раз такое было.

Так он прилетел в Израиль.

II

Первое утро в Израиле: его разбудила жена, и он сразу все вспомнил. И на мгновение ужаснулся тому, что он наделал, тому, что уже нельзя исправить, но он сразу же постарался расслабиться, начал умиротворяюще приговаривать себе: «Я в Израиле. В Израиле. Теперь все будет хорошо». И расслабление, умиротворение действительно наступило. Правда, какие-то слезы чувствовались в нем. Еле заметно, но чувствовались. Потом, вспоминая это первое утро, он вспомнил и этот привкус слез, который память уже тогда безошибочно и навечно зафиксировала. Но в то утро ему было, конечно, не до таких оттенков. В комнате было холодно, он, трясясь, нетерпеливо оделся, вышел на веранду, на солнце, и сразу же с удовольствием почувствовал, что начинает согреваться. Во дворике перед верандой было светло и тепло, росла простенькая травка, вроде нашей осоки, только как будто подлиннее, поновее. Он сразу же схватился за сигарету - не дотерпеть до после завтрака - и, тихо радуясь теплу и солнцу, курил. В траве ползали - не бегали, а именно ползали - какие-то неуклюжие муравьи, угловатые, с вздернутыми остренькими задами. Вовка, как ни в чем не бывало, ползал по траве, ловил муравьев, засовывал в пустой пузырь из-под пепси-колы. Он был полностью поглощен этим занятием.

Дворик был не замкнут, переходил в пустырь, довольно запущенный, замусоренный. Неподалеку, по правую сторону пустыря, стоял дом, примерно такой же, в котором жили они - не то белый, не то серый, обшарпаный, как бы блочный, но было такое ощущение, что его не строили, а складывали на скорую руку из чего придется, из

старых дверей, кусков стены, каких-то рам - что нашли, то и пошло в ход. Уже гораздо подальше, слева от пустыря, стоял еще целый ряд таких же домов. Белье сушилось везде, где только можно. В общем, не слишком шикарно для заграницы, не слишком. На Пермь похоже, появляясь в дверях, сказала жена. Снижающее сравнение. Ему оно не понравилось, но он подумал, что, наверное, так оно и есть.

Вдруг его как ткнуло что-то. Он же в субтропиках! Он в нормальных субтропиках-то ни разу не был, а тут, слава богу - тридцать вторая параллель. Стоит ему покинуть этот заурядный дворик, пойти по улицам - и он окажется в незнакомом субтропическом городе, в самой гуще этих самых субтропиков, и искать их специально не надо - он и так уже в них! Невероятно, но факт. «Сейчас я быстренько» - пробормотал он и в тапках прошел по доскам под навесом, как вчера, только в обратном направлении. Вышел на улицу, бросил взгляд направо. Домик за забором и пальма рядом с ним. Высоченная, с кривоватым стволом, как будто кто-то с небрежным изяществом, одним легким взмахом, чиркανул ногтем по воздуху, и она вознеслась ввысь. «Уже неплохо» - довольно подумал он. Субтропики надо было вкусить по полной программе. Перешел через улицу, дальше мимо помойных баков и вдруг очутился в парке. Прямо на него смотрела пальма. Финиковая, из тех, которые он видел в фильмах про Северную Африку. Вот оно. Он сразу понял, что этот момент в его жизни запомнится ему навсегда. Это была встреча с субтропиками, так сказать, рукопожатие. Он неспешно, с расстановкой, двинулся к пальме. Каждый шаг делал его чуть-чуть ближе к ней, и она чуть-чуть выросла ему навстречу. Подошел к ней на расстояние трех шагов и остановился. Прямой, могучий, плетеный ствол, царственная крона из тяжелых колосьев. Олицетворение благородства и красоты. Чуть повернул голову, и р-р-аз - еще одна такая же попала в боковое зрение. И еще одна. И еще. А вот целая пара. Растут себе запросто, как осины. Восторг, экстаз захлестнул его. Когда в последний раз он чувствовал что-то подобное, когда в последний раз он т а к чувствовал? Да уж лет десять как. Тогда он был «пьян жизнью», как говорил Толстой. И сейчас это давно забытое чувство «пьяности» вдруг вернулось. Он стоял и старался как можно

глубже проникнуться этой минутой, понимая, что больше она не повториться. Еще постоял, покурил…

Когда-то, в страшно далеком детстве, настолько далеком, что, казалось, это был не он, а кто-то другой, он читал запоем про путешествия в дальние страны, Гаити, Таити, Полинезия, Мелонезия, благоговейно рассматривал скверного качества картинки, и там почти всегда были пальмы… Тогда, правда, у него, кажется, не было страстной мечты побывать там, ему просто нравилось мысленно переноситься в те далекие страны. А может быть, и тогда была, просто он был уверен, что рано или поздно там побывает, поэтому и не было в этих мысленных перенесениях никакого надрыва, никакой тоски по несбыточному. Это уже потом… И эта мечта, казалось бы бесследно сгинувшая вместе с детством, оказывается, жила в нем все это время, выжидала своего часа. И наконец дождалась. Немножко все-таки жаль, что он не в тропиках, а в суб-тропиках. Тропики придали бы картине полную завершенность.

Ну все, надо возвращаться. А то наверно эти из фирмы приехали и ждут. Он быстренько перебежал назад через улицу, на свой дворик. Люди из фирмы не приехали. Зато был горячий чай и бутерброды. И бодрая жена, и Вовка, играющий в траве. Очень хорошо.

Поначалу хлопот, головной боли было много. Все время приходилось куда-то ездить, ставить свою подпись на каких-то бумагах, все время открывались какие-то проблемы. Министерство абсорбции, министерство внутренних дел, садик для ребенка и т.д. Жена, правда, занималась всем этим, но присутствие Саши было постоянно необходимо. Люди из фирмы, в общем, действительно помогали, особенно там, где нужен был язык. Сами они языка практически не знали, а Саша к тому же и не собирался его учить: рассчитывал на свой английский. Ведь он не собирался жить в Израиле, это был для него перевалочный пункт на пути в какую-нибудь англоязычную страну. Так что иврит мог подождать. С помощью фирмы сняли квартиру - в Бат-Яме, пригороде Тель-Авива, на границе с Холоном - другим пригородом Тель-Авива. От моря - двадцать пять минут, до Тель-Авива на автобусе - полчаса. Двухкомнатная

квартирка с малюсенькой кухней, с каменными полами - полы здесь всюду каменные. Но Саша был вполне доволен. Во всяком случае это было лучше, чем жить с родителями, даже по чистому метражу.

Сам Тель-Авив показался Саше довольно неказистым, удручающе однообразным городом, с печатью провинциальности, второсортности. Только диковинная тропическая флора его как-то вытягивала. Съездили и на море. Оно показалось Саше каким-то легкомысленно светленьким, голубеньким; Черное было, кажется, потемнее, посолиднее. И берег был здесь абсолютно плоским, что было непривычно - опять-таки по сравнению с Черным морем. Но все-таки здорово было стоять перед здешним морем и знать, что оно Средиземное.

Те первые дни жизни в Израиле стали для него чем-то вроде передышки, остановки между той жизнью, которая кончилась и той, которая еще не успела начаться. Он вдруг оказался выброшенным туда, где ни разу до этого не бывал. И это и было то, о чем он мечтал. Что-то вроде глотка кислорода. Юность что ли вернулась? Да нет, и юности никакой не надо, если и так все хорошо. Он попал в другой мир, где, казалось, сам воздух был другим, и он дышал, дышал им. Ближе к вечеру он отправлялся бродить по незнакомому субтропическому городу, у моря присаживался передохнуть, медленно курил, потом опять долго шел куда глаза глядят и чувствовал, как умиротворение, покой, тихое просветление снисходят на душу, как разглаживаются какие-то внутренние морщины, как потихоньку оживает, начинает дышать что-то давно забытое, уже, казалось бы, намертво задавленное в душе. Когда он шел мимо заваленных каким только угодно товаром лавочек, магазинчиков - а были улицы, состоявшие сплошь из них - то не богатством, а покоем веяло от них на него. И народ все больше добродушный, хотя временами, кажется, несколько беспардонный. И тепло… Это, наверное, и есть рай…

Неужели его душа после долгих, бесплодных скитаний обрела наконец покой? Неужели кончилась для него эта бездарная, грязная, убогая, полная тихого отчаяния жизнь, и началась новая - ясная, красивая, разумная? Его музыка, его книги - все это при нем. Теперь только работу найти… Конечно, он ее найдет - с его высокой

квалификацией программиста, с его английским, с его молодостью - ведь его возраст считается молодым - и, наверное, справедливо.

Вот он сидит на скамейке и курит. Нарочно выбрал скамейку под пальмой, чтобы было красивее. Подошел черноволосый, черноглазый парень с незажженной сигаретой в зубах, кажется что-то сказал. Он понял, жикнул зажигалкой, парень улыбнулся, поблагодарил и пошел себе дальше. И он тоже улыбнулся в быстро густеющие сумерки. Хорошо.

Однако надо было зарабатывать деньги. С собой у них были кое-какие доллары, но на долго бы их не хватило. На «корзину абсорбции» - не проживешь. Да и вообще, нечего тянуть. Конечно, сразу же надо попытаться найти по специальности. Для этого надо составить свою «трудовую биографию» («корот хаим» по здешнему) и отправить ее в те конторы, где бы ты хотел получить работу. «Корот хаим» - это одна страничка печатного текста, где написаны год рождения, что из учебных заведений кончал, где работал, кратенько о том, чем занимался на работе. В Тель-Авиве жил бывший сослуживец Сашиной матери, уехавший года три назад. На всякий случай у Саши был его телефон. Знакомый матери был очень любезен по телефону, сразу же предложил зайти к нему на работу. Там они и распечатали экземпляров пятнадцать Сашиного «корот хаима», составленного на английском. В добавок к этой услуге бывший материн сослуживец дал Саше прекрасно изданную книжку на английском с описанием полусотни фирм, занимающихся программированием. На прощание обнадежил: сейчас программисту найти работу без проблем, и платят хорошо. Вот когда он сам приехал, в тот период, когда половина евреев Союза ломанулась в Израиль - другое дело. А сейчас нормально.

Обнадеженный Саша разослал десяток своих «корот хаимов» по тем конторам, где, как ему казалось, его шансы были особенно велики. Ждать ответа, он знал, нужно было довольно долго - и месяц, и даже больше. Впрочем, он мог прийти и очень быстро - как повезет, во всяком случае, предсказать, когда именно он придет и придет ли вообще, было нельзя. Поэтому стоило подумать, чтобы где-нибудь пока подработать. И он занялся поисками подработки, не

слишком, впрочем, активно - деньги пока были, ответы еще придут, а грузить что-нибудь тяжелое всегда успеешь. Чуть было не нанялся помогать одиноким старикам, но потом передумал. Работа тяжелая, без языка, да и платят мало. Пару раз его звали распространять какой-то «герболайф», он так толком и не узнал, что это такое. С одной уже не первой молодости парой, распространявшей герболайф, он даже имел продолжительную беседу. Они были тоже из Петербурга, гуманитарии - безнадежный вариант. С горя они и взялись за герболайф; после года неудач, дела у них наконец-то пошли на лад. Он был задумчив и немного грустен, она - не без девчоночьей бойкости. «Я уж думала, что до конца жизни придется полы мыть» - говорила она, и видно было, насколько она благодарна герболайфу-спасителю. Хорошая пара. На концерте Городницкого им бы самое место, а не у зарослей алоэ беседовать о герболайфе…

От немолодого гуманитария-герболайфиста Саша узнал, что можно неплохо подзаработать репетиторством. Сам он вполне годился на то, чтобы давать уроки математики. Надо написать объявлений сто и расклеить их где только можно. И он принялся за написание объявлений. ДАЮ УРОКИ МАТЕМАТИКИ. ДАЮ УРОКИ МАТЕМАТИКИ. Чем проще объявление - тем лучше, тут он положился на опыт бывалого репетитора, ныне успешного распространителя герболайфа. Он не успел написать и половину нужного числа объявлений, как пришел первый ответ на разосланные "корот хаимы". С помощью любезных соседей перевели - "благодарим за внимание, оказанное вами нашей фирме, но, к сожалению, не имеем возможности..." Вот и все. Почему не взяли, вроде и по профилю он им подходит? Может потому, что "корот хаим" на английском? Черт его знает, гадать бесполезно. Он еще в России знал, что в Израиле с английским не пропадешь, но иврит-то все-таки для всех тут родной язык. Может, и вправду придется учить иврит…

На следующее утро он решил убыстрить это дело. Личное общение лучше, чем бумага. Хотя это вроде и не по правилам. И он взял книгу, которую ему дал бывший сослуживец матери, выбрал контору, которая, судя по краткому описанию ее деятельности, ему более или менее подходила и куда он еще не успел послать «корот хаим», и

набрал номер ее телефона. «Ну, американский бог, помоги мне» - думал он, слушая гудки. Сейчас придется говорить по-английски, и чем лучше - тем лучше. По английскому встречают… Надо как можно лучше перевоплотиться в американца. Как написано в книге, «человека для контактов» зовут Шимон. Его и надо попросить. Взяли трубку. Женский голос произнес название конторы и «шалом»; прозвучало как одно слово. «Могу я поговорить с Шимоном?» - сказал он. «Шимон!» - протяжно, как-то неожиданно по местечковому позвал женский голос на другом конце. Пару раз щелкнуло, потом – «Але», уже мужской голос. Здравствуйте, я такой-то, ищу работу программиста. В Израиле я около месяца. Около месяца, и уже готовы работать? Конечно! - с жаром ответил Саша. Голос в трубке вроде бы усмехнулся. Откуда у вас такой блестящий английский? Непонятно, что на это сказать. Я изучал его, сказал Саша сдержанно, но внутренне возликовав. На другом конце немного помолчали. Хорошо, я вас жду сегодня в шесть часов. Наш адрес такой-то. Откуда вы звоните? Из Бат-Яма? От вас идет сорок второй автобус. Не забудьте взять ваш «корот хаим». До встречи.

Он положил трубку и чуть не подпрыгнул. Черт, это уже успех! Его пригласили на «интервью» - очень часто дело до него вообще не доходит, присылают отказы или вообще не отвечают. И говорил он здорово, очень по-американски, даже с некоторой гнусавостью, как певец в стиле кантри, простой парень из Теннесси. Чувствовал, что и на интервью будет говорить не хуже, он сегодня в ударе. Что именно говорить, он уже заранее приготовил. Пришла жена, он рассказал ей о своем успехе. Она тоже очень разволновалась. Ну, не сглазить бы.

Интервью прошло успешно. Он был принят. Шимон - тщедушный, тихоговорящий человек с короткой седоватой бородой - оказался не только «человеком для контактов», но и начальником хевры (хевра - фирма). Он долго, подробно расспрашивал Сашу о том, чем он занимался, устроил даже нечто вроде экзамена - и всем остался доволен. И наконец объявил: я решение принял, я вас беру. Зарплата - такая-то. Пересмотр величины зарплаты - через год. Работать будете в здании IBM, мы там снимаем машинное время. Ждем вас в

воскресенье. Подходите к восьми часам, Юрий - наш главный специалист - скажет вам, что делать. Шимон широко, очень по киношно-западному улыбнулся и пожал Саше руку. Все прошло так, как он и мечтал. Это был триумф.

Наверное, никогда он не был так счастлив. Простым человеческим счастьем. Может быть, только после приемных экзаменов в университет, десять лет назад. Сразу же позвонили Сашиным родителям - те боялись поверить, их же пришлось успокаивать. Легли в этот день поздно - уложив Вовку, сидели, дули чай, мечтали вслух о том, как заживут.

Саша уже имел представление о здешних зарплатах. Его зарплата позволяла забыть о нужде, об иммигрантской борьбе за кусок хлеба. Он, что называется, хорошо устроился.

У него было несколько дней до воскресенья. Выходные здесь - пятница и суббота, так что вся неделя сдвинута. И эти дни он бродил, бродил, бродил. И был счастлив. Простым человеческим счастьем.

Что теперь остается? Жить остается, да поживать!

На работу он приходил, как правило, раньше других своих сослуживцев. Туда, где он сидел, было не пройти, потому что магнитную карточку, которая открывает двери, ему пока не выдали; его непосредственный начальник Юра обещал вот-вот устроить. Выдали ему ее месяца через два. Его впускала уборщица, которая ходила туда-сюда и дверь держала открытой; иногда ее приходилось ждать, но как правило она оказывалась на месте. Он садился на свое место у самой двери, включал терминал, вводил пароль. Еще как следует не рассвело, в здании было сумрачно, пустынно. Потом появлялась тетушка, похожая на его школьную учительницу английского языка Эсфирь Ароновну - черты не похожи, но тот же тип семитского лица, с каким-то негроидным оттенком. Они здоровались, и тетушка усаживалась за соседним столом, раскладывала бумаги, не подозревая, что похожа на Сашину учительницу. Соседний стол арендовала компания «Формула». Почти одновременно с тетушкой появлялся пожилой мужчина, который тоже усаживался за соседний

стол, тоже, стало быть, из «Формулы». Высокий, с вытянутым черепом, лысый, только на затылке сохранилась коротко стриженная, серая, как будто пыльная овчина; здесь было много таких затылков. Пока никого из сослуживцев не было, Саша просто сидел, не прикасаясь к клавиатуре. Как-то не тянуло.

Ему нравилось ехать на работу на автобусе. Он как-то отдыхал душой в это время. Еще вечером, ложась спать, он вспоминал об этом, и на душе теплело. Сначала автобус долго не мог выехать из Бат-Яма, часто останавливался, по своему прихотливому маршруту плутал по этим городским - не джунглям, а, скорее, по какому-то городскому чахлому мелколесью. Был момент, когда на одном из многочисленных поворотов появлялось море - вспыхивало вдали синевой и тут же пропадало. Саша никогда не пропускал этот момент. Витрины магазинчиков с вывесками в основном на иврите, но часто и по-русски, магазин «LOS MUCHACHOS», отделение банка «Дисконт». Потом автобус выезжал на площадь перед супермаркетом, по местным меркам довольно просторную, с пальмами, с фонтанами. Здесь кончался Бат-Ям. Дальше автобус шел по шоссе «Йерушалайм», по прямой. Сразу становилось больше открытого пространства, и как-то просторнее, свежее становилось на душе. Хорошо было смотреть из окна влево. Сначала, у самой дороги, - обширный пустырь, скорее даже полупустырь-полупомойка, за пустырем, уже совсем рядом с морем - новостройки, типично израильские, еще новенькие, цвета сахарной пудры. На самом краю пустыря - рослая, роскошная пальма, вокруг все усеяно целлулоидными пузырями, пакетами, которые дают в магазинах, всякой дрянью. Когда едешь обратно, уже в темноте, мусора не видно, и только роскошная крона чернеет на фоне уже ночного неба, иллюстрацией к «Тысячи и одной ночи». Потом полоса простора кончалась, въезжали в Тель-Авив. Опять плутания.

Наконец, его остановка. Еще немного пешком - и он у здания IBM. Огромное цилиндрическое здание, на фотографиях он видел его еще в России. Кто бы мог подумать, что он будет работать здесь!
Без магнитной карточки на входе приходилось оставлять свой «теудат зеут» (удостоверение личности) и объяснять кто, зачем и откуда. На его зачаточном иврите это было не очень приятно. На вахте

(выражаясь по-нашенски), дежурило несколько человек. Был пожилой мужчина с суровым лицом старого воина, наверное ветеран всех войн: войны за независимость, Шестидневной войны, войны Судного Дня и т.д. Спрашивал у Саши как фамилия, из какой фирмы, на какой этаж; со всей серьезностью заносил все это в свою тетрадь, глядя неподкупно. Ходить мимо него становилось с каждым днем неприятнее. Был молодой, скорее латиноамериканского типа, с прилизанными волосами, с дерзким выражением черных глаз. В его фигуре было что-то от тореадора. С Сашей он держался дружелюбно, хотя и снисходительно. Была бледная, некрасивая, песочно-рыжая девица из наших, она же сидела и за кассой в столовой. Были еще какие-то израильские девицы. Что-то южное, пряное.

Лифтов было пять, не то шесть, но все равно приходилось довольно долго ждать. Они были необыкновенно объемисты, могучи; двигались быстро, бесшумно. Во время езды в лифте у Саши невольно появлялось ощущение, что он попал в какой-то тренажер для испытания невесомостью. А когда доезжал до своего этажа, невольно думалось: приземлились.

Своих сослуживцев - то есть тех, кто с ним сидел - в конторе народу было гораздо больше - он узнал получше. Здоровый, жирный Виталий, усы добавляли к его облику нечто козацко-хохлацкое. Интеллигентный Зорик, с тихим голосом, с кротким взглядом еврейских глаз, с очень еврейской кудрявой шевелюрой. Нарком первых лет революции. Виталий тоже, впрочем, был чистокровный еврей, только Саша был почти русский. Они все думали, что еврейка у него жена, а сам он русский. Забавно, но это ему нравилось. «Тебя хоть сейчас в гитлерюгенд» - сказал как-то раз Виталий. Он вообще любил острить и подтрунивать. С Зориком они постоянно перешучивались, и Зорик исправно отвечал на Витальины остроты в том же ключе, хотя порой несколько устало. Виталий был из Житомира, Зорик - из Ленинграда. Саша был из Санкт-Петербурга.

Работы было не слишком много. Сначала Саша долго включался в работу, потом его прикрепили к Зорику, искать ошибки в его программе, которые, несмотря на все предыдущее вылизывание, все продолжали выявляться. Вины Зорика в этом не было, - эта программа

делалась в спешке, без достаточного продумывания, а это значит, что ошибки будут вылавливать до скончания века. Саша, как программист, это знал. Иногда когда он приходил, оба терминала были заняты: и Виталий, и Зорик уже за ними сидели. Тогда приходилось подниматься на следующий этаж, где часто оказывался свободный терминал, если за ним не сидел Рома - тоже человек из небольшой конторы, как и сам Саша. Если терминал был занят, то Саша пил чай, какао, курил и ничего не делал. Было скучновато. Как-то Рома рассказал, что у его жены была опухоль на мозгу, и операцию делали в Париже, он туда жену сопровождал. Саше неудобно было спрашивать, понравился ли Роме Париж.

Изредка из «мисрада» (контора, офис) наскакивал Юра. Нетерпеливо стучал по стеклянной двери своей магнитной карточкой, которая устарела и теперь дверей не открывала, а другой рукой делал нетерпеливые знаки. Виталий и Зорик юмористически переглядывались, и кто-нибудь открывал. Чувствовалось, что без особой охоты. «Ма мацав?» - был первый стремительный вопрос Юры. Это значило: «Как положение?» Вопрос звучал требовательно, серьезно, и давалось понять, что опаздываем, товарищи, опаздываем. Некая тревога за важное общее дело. Виталий и Зорик объясняли мацав. Никогда Юра не был полностью удовлетворен. Потом садились и обсуждали график дальнейших работ. На это у тебя уйдет два дня, на это день, на это полдня. Сроки всегда казались слишком маленькими и Виталию, и Зорику; долго спорили, доходили и до часов: на это у тебя уходит три часа, так? на это, я все понимаю, но все равно, ну никак не больше пяти часов, хорошо, положим шесть и т.д. Виталий, бывало, вскакивал, начинал орать, что-то укоризненно вспоминать (все они проработали здесь по два-три года), нервно ходить. С Зориком никакого крика и хождения не было, они с Юрой долго сидели у Зорикиного терминала; Юра говорил что-то в полголоса, весьма деликатно, но втолковывающе, а Зорик рассеянно улыбался, изредка вставляя какие-то замечания, после чего Юра говорил еще деликатнее, но еще более втолковывающе. Чувствовалось, что суть проблемы тут та же, что и с Виталием. У Саши с Юрой никаких разговоров не было, Саша был пока как бы частью Зорика. Правда, во

время Юриных разговоров с Зориком, Саша чувствовал, что речь там идет и о нем, Юра между делом выведывает, как там новый работник. Но Саша знал, что тут будет все в порядке, Зорик скажет все как надо. Отношения у него с Зориком у него очень хорошие, да он и вправду делает все, что Зорик скажет, и вполне быстро. Первое время Саша все пытался выпытать у Юры, когда же ему будет отдельный терминал. Юра ласково касался его плеча, не волнуйся, мол, хлопец, будет тебе терминал, и как будто чуть улыбался Сашиной горячности, для его возраста, впрочем, простительной. Как-то Зорик, видимо первым потеряв терпение, объяснил Саше, что Шимон снимает только машинное время, а не помещение, так что и на эти два терминала они, строго говоря, не имеют прав. Так он бы снял и помещение. Так за это платить надо. Больше Саша к Юре не приставал.

Потом, когда все дела были улажены, Юра еще оставался поболтать на часок-другой. Рассказывал и про свою жизнь в Баку (сам был оттуда), и жизнь в Нижневартовске, и жизнь в Риге, и про Кельн, Лондон, Цюрих, Сан-Паулу (успел-таки поездить по миру за время работы здесь), рассказывал весьма увлеченно, даже азартно, но как-то ничего не оставалось в голове от того, что он рассказывал. Ничего пересказать было невозможно. «Часы считает, а сам полдня сегодня протрепался!» - как-то сказал Зорик, и настоящая, застарелая злоба чувствовалась в его словах. Даже как-то на него непохоже. Но, и в самом деле, если Юра приходил с утра, то, пообедав, все-таки уходил, но если во второй половине, то раньше девяти с работы было не убраться. Правда, надо отдать должное Юре - специалистом он был классным, прямо какой-то Зорро программирования. Один раз в пять минут нашел ошибку, над которой Саша с Зориком бились уже часа три. Хотя уже давно сам программ не писал - не его уровень. И это было совершенно справедливо.

Один раз и сам Шимон пожаловал посмотреть как тут идут дела. Саша как раз развалился на стуле перед терминалом, потянулся всем телом, отвел голову назад и вбок, лицом к стеклянной двери, выворачивающе зевая, - и увидел Шимона, спокойно, с маленьким портфельчиком, идущего к их двери. Саша мигом сел на стуле как

следует. Черт, нехорошо вышло. Так-то работает новый сотрудник. Впрочем, Шимон поговорил с ним очень ласково, спросил как новая работа, как сотрудники, на последнем делая особое ударение, видимо желая, чтобы у него были не просто наемные работники, а что-то вроде семьи, как это вроде водится у японцев. Саша говорил, что все хорошо, отлично, улыбаясь изо всех сил. Наконец, Шимон улыбнулся еще ласковее и повернулся к кому-то другому, для более предметного разговора. Пробыл часа два. Не улыбался. Серьезно говорил о чем-то с Зориком (Виталия не было), иногда делая паузы в разговоре, как будто что-то обдумывая, прикидывая. Потом попрощался на приподнятой, дружественной ноте и отбыл. Зорик сказал, что Шимон остался, кажется, доволен. Хотя до конца понять нельзя. Нужно еще посмотреть, как будет вести себя Юра.

Так Саша и работал. Все шло, в общем, нормально. К «формульщикам» за соседним столом иногда приходил их начальник, пугающе похожий на покойника - совершенно мертвенная бледность, провалившиеся щеки. Да еще очень жидкая, всклоченная шевелюра. Какой-то зомби. Но говорил он подолгу, громко, размахивая руками, расхаживая. Роскошно, раскатисто картавил, как Эдит Пиаф, хотя обычно израильтяне картавят не очень выражено, глухо. Формульщики оставались сидеть, сами почти не говорили, молча слушали его, глядя в стол. Еще был американец, очень похожий на осла. Зато у него был удивительный голос: очень низкий, сочный, богатый. «Как у левитана» - по выражению Зорика. Говорил он на иврите, но с совершенно американским, даже каким-то утрированно американским произношением, так что ни сразу можно было понять, на каком языке он говорит. Голос его то и дело слышался откуда-то из глубины огромной комнаты, громкий, самодовольный и совершенно какой-то отдельный, невольно хотелось вслушаться, понять, что же там такое происходит. Была большая, рыхлая англичанка, с ярким нелепым румянцем во все лицо, как будто она только что лечила насморк над паром. Вокруг нее постоянно была небольшая свитка, говорили по-английски, англичанка больше слушала, чем говорила, кивала. Похоже, она была представительницей английской фирмы.

Но Юра составлял графики не просто так. И все чаще приходилось оставаться допоздна, часов до девяти, хотя приходить он теперь стал позже - понял, что ничего страшного в этом нет, начальство далеко. Но к концу такого удлиненного рабочего дня начинала разбаливаться голова, мутило от голода и от усталости. Зато людей почти не оставалось, и как-то свободней, вольготней становилось на душе. В определенный час являлся американец с полотерной машиной. Резко, упрямо курносый, скуластый, с узкими, к тому же как будто заспанными глазами, да и весь был какой-то заспанный, нечесаный, давно небритый, мрачный, как туча. На голове - прямо какой-то шторм. С полчаса возился со своей машиной, олицетворяя неприятие действительности. Саша как-то услышал обрывок его разговора по телефону, говорил он по-английски. Так Саша и понял, что он американец. Вместе с полотером приходила и русская женщина с добрым, наивным лицом, уборщица. Сама из Свердловска. Рассказывала про здешние трудности, вздыхала по поводу своего пятнадцатилетнего сына, который здесь никак не может прижиться, дичает. Все друзей своих забыть не может. А те ему пишут: «У вас тут, говорят, оружия много, так ты бы нам как-нибудь переслал».

В эти поздние часы Саша любил прохаживаться по коридору и слушать как многоголосо, разноголосо завывает ветер в шахтах для лифтов.

Рано или поздно рабочий день кончался. Саша выходил из здания IBM и шел на восемнадцатый автобус тут же неподалеку.

Вообще-то была уже зима. Небо было серое, тяжелое. Солнце показывалось редко, светило блекло. Все, зима, в этом не было никаких сомнений. Правда, как говорили, она была мягкой в этом году. Было не очень холодно, и дождь шел редко. Похоже на петербургское холодное, скверное лето. Хотя в первый же ненастный день порывом ветра сломало его зонтик, который теперь напоминал о перебитом крыле летучей мыши. Только кусты и деревья были все так же абсолютно, безнадежно зелены, хотя и стояли сырые, потемневшие без солнца.

Когда начало меняться его настроение? Точно нельзя сказать, но теперь он каждый день, часа в четыре, спускался в столовую, которая во второй половине дня работала в режиме буфета, покупал сок («миц», по-здешнему), присаживался за какой-нибудь стол и подолгу смотрел в окно. Не хотелось уходить. Из окна хорошо был виден и грязно-белый, отсыревший, плохонький город, и море, какое-то водянистое, как будто разбавленное дождем. С высоты оно казалось гораздо ближе, чем было на самом деле. Веселая, вечно смеющаяся рожа толстухи, которая давала ему «миц». Хоть ей и под шестьдесят, а все равно - рожа.

И почему он смотрит на небо, а в голову лезет какое-то «Облака плывут, облака…»? Почему не хочется шевелиться, так бы и сидел, только в пять буфет закрывается, да и работать идти надо?

Но ведь он и хотел, страстно желал - рай. И он его получил. Не отпереться. И море, и пальмы, а вместе с тем и медицинскую страховку, и твердое социальное положение, и с ребенком ничего не случится, и ни с ним самим, ни с его женой ничего не случится, и все расписано до конца его дней. И зарплата его будет увеличиваться, и въедут они в свой дом, и страховые программы у них будут все более дорогие, и если заболеешь, - сотни тысяч баксов будут вбуханы в тебя, и уникальная операция будет произведена, хоть в Париже, хоть в Йоханнесбурге. Может, конечно, свалиться на голову кирпич, или какой-нибудь араб намотает на нож твои кишки. Но про такое думать - блажь. Не из той он страны приехал, чтобы быть настолько избалованным. И ни мыканий больше, ни терзаний. Остается одно - жить. Наслаждаться ею - жизнью. Но нет. Облака плывут, облака…

Но ему нравился б а й р о н и з м своего положения. Когда он несся в автобусе по шоссе Йерушалайм, мимо ряда лимонных деревьев, а может быть мандариновых или апельсиновых, и смотрел на дальние новостройки, из-за которых нет-нет да и мелькнет синее, сырое море, и если особенно у водителя играло что-нибудь подходящее, например, что-нибудь трагически-спиричуэлообразное, он вдруг видел себя со стороны, и ему нравилось, что вот он, летит сейчас в автобусе, черт-те где, бросивший, гордо отринувший все, затерянный

в жутком, но прекрасном космосе. Да, ему нравилось это. В этом была пОэзия. Особенно было хорошо, если роскошная пальма попадала в кадр.

Но все надоедает. Нельзя каждый день любоваться на одну и ту же картину.

Вечером он ужинал, потом лежал, вытянув ноги на диване, и смотрел MTV. Времени было в обрез, а то завтра не выспишься. Курил на верандочке, слушая как шуршит в темноте зимний ветер.

Для прогулок у него было два направления. Первое в Бат-Яме, второе, противоположное - в Холоне. Они жили как раз на границе Бат-Яма и Холона, разделенных автострадой. Перейти эту автостраду можно было только в несколько приемов - сначала добраться до одного островка со светофором, подождать, потом до следующего островка и т.д.

После перехода через автостраду сразу оказываешься на улице Дов Хоз. Она была очень длинной и где-то в своем течении даже меняла название. Только один раз он дошел до самого ее конца. Там, кладя ей конец, ее пересекало шоссе, и тут же за ним открывался ряд дачных одинаковых домиков, бесконечный и влево и вправо. Это уже были домики индивидуального пользования, со своими собственными участочками, обнесенные заборами. Стояли притык в притык; и участочки и сами домики были маленькими, глядя на них думалось, что в них, наверное, тесно жить. Хотя наверняка на самом деле это было не так. Во всяком случае, не теснее, чем там, где жил он. Он некоторое время шел вдоль домиков, потом повернул назад.

Но он только один раз дошел дотуда. Обычно сворачивал или не доходя немного до Шенкар-Арие, или на Эйлат, или даже еще раньше. Все время налево. Направо совершенно нечего было делать. Но все-таки чаще он доходил до пересечения Дов Хоз (если к тому времени та еще продолжала так называться), с небольшой улицей, названия которой он так и не узнал. Там стояли три пальмы, низкорослые, но с обширными, богатыми кронами. На ветер они почти не реагировали, только некое ленивое, неторопливое шевеление было иногда едва

заметно в них. Может быть, правда, и потому, что ветер здесь был слабый из-за домов. Он всегда некоторое время стоял перед этими пальмами. Это был уже как бы ритуал. И потом сворачивал налево. Здесь начиналась дорога в пампасы. С детства засевшая фраза из "Золотого теленка" "Хочу на волю, в пампасы" не то чтобы вспоминалась, а была где-то рядом, когда он сюда приходил. Саму улицу, куда он сворачивал, хотелось назвать скорее бульваром. Вечером здесь горели фонари, и прохаживались почтенные пары, немногочисленные, но и не редкие. Нет толпы, но нет и безлюдья. Ему это нравилось. И скамеек было много вдоль тротуара, многие свободны. На какой-нибудь из них хорошо было посидеть, покурить после долгого перехода по безрадостной Дов Хоз. На этой улице было вообще хорошо, душа как-то отдыхала после утомительного однообразия всех других близлежащих и не так уж близлежащих улиц. Здесь не было хрущевок, здесь вообще было мало домов, и те довольно оригинальной, по крайней мере по здешним меркам, архитектуры, ближе к прибалтийским коттеджам. И стояли они не притык в притык, а были свободно, просторно раскиданы, одни ближе к тротуару, другие задвинуты вглубь. Пяток великолепных пальм очень хорошо смотрелся с ними. Это на правой стороне, а на левой домов вообще не было видно. Здесь вдоль всего тротуара стояли акации, наверное это были они. Кажется, единственные здесь деревья, которые сбрасывают на зиму листья, стоят голые, корявый кривоватый ствол без веток, а наверху - многочисленные, густо, криво, хаотично растущие голые прутья, как будто пытающиеся что-то обхватить в воздухе. Только ближе к лету они покрываются нежными листиками. Если смотреть на них со стороны, то видно, что кроны у них сплющенные. Чувствуется близость Африки. По левой стороне он все время и ходил, и на скамейках сидел, смотря на правую сторону, на коттеджи, на пальмы. Еще здесь стоял старик и продавал мороженое. Жалко было тратить деньги на ерунду, но он иногда покупал. Расслаблялся, так сказать.

К сожалению, дорога в пампасы быстро кончалась. Но вот и сами пампасы. Здесь город как бы прерывался, и он оказывался перед автострадой. Там, где дорога в пампасы пересекалась с ней, было

что-то вроде маленькой площади, с островком посередине, а на островке - светофор и три пальмы. Но эти пальмы были совсем не такими, как те, которые росли на Дов Хоз, там где он обычно сворачивал. Гораздо выше, чем те, все разного роста, и росли как-то в разнобой, как каждой заблагорассудится, и не прямо, а под углом к земле, каждая под своим, и стволы слегка искривлены, и кроны как-то лихо нахлобучены набекрень, открытые всем ветрам, и ветер и вправду трепал их так и сяк. Какая-то бесшабашная легкость чувствовалась в них. Всегда что-то чуть-чуть взмывало в нем, когда он доходил до этой как бы площади и первый раз видел эту троицу. И сразу же перед взглядом представала парковка, новая, современная, западная. А за ней и начинались его пампасы. За парковкой были высажены длинным рядом высокие эвкалипты. Наверху их кроны редеют и становятся похожи на дым, уже не густой, как у его источника, а уже успевший разойтись, уже рассеиваемый, развеиваемый ветром. И за этими эвкалиптами угадывался такой простор, такое приволье, что на мгновение казалось, что стоит обойти парковку, дойти до тех эвкалиптов, и ты очутишься среди дикой африканской саванны, один, затерянный в этом приволье. И опять что-то чуть-чуть взмывало в нем. Опять зовущее, головокружительное чувство. Пампасы, кстати, бывают только в Южной Америке, и эвкалиптов в Африке что-то не припомнить, но какая разница? На волю, в пампасы!.. На самом деле никаких пампасов за парковкой, конечно, не было. Эвкалипты высажены в один ряд, а дальше - угрюмый, замусоренный пустырь. Вот и все.

Впрочем, пампасы можно было увидеть только в солнечный день. Вообще, в Холоне он стал бродить только ближе к лету.

Как-то он очутился на широкой улице с мощными пальмами по обеим сторонам. Кажется, зима еще окончательно не настала. Под каждой пальмой валялось несколько десятков фиников. Большинство было безжалостно раздавлено каблуками проходящих мимо. Темно-коричневая, густая масса, и один раз даже отпечаток каблука на ней, уже припыленный, как на гудроне. Изредка попадались и уцелевшие финики. Ему давно было любопытно поесть сырых фиников.

Но не с земли же, тем более такой, их поднимать. И не наверх же за ними лезть. Он долго шел по этой улице, от одной пальмы к другой.

Зимой же он гулял в основном в Бат-Яме, всегда по одному и тому же маршруту, чаще вечером. Вниз, по улице Йерушалайм, мимо заправочной станции, потом, недалеко, выйти на улицу Ротшильд, и оттуда, если еще не стемнело, уже видно море. И - прямо, до набережной. Он некоторое время шел по набережной, обходя пальмы, растыканные там и сям, фонари, расставленные равномерно, мимо сплошного кустарника, сразу же за которым ограда, а за оградой крутой склон, небольшая полоса пляжа внизу и море. Из-за кустарника море видно только у самого горизонта. Если стемнело, его вообще не видно, оно слилось с черным небом. Пальмы здесь веерные. У финиковых крона состоит из колосьев, а у этих - из вееров. Мокрые кусты тускло отсвечивают под фонарями. Потом он спускался по ступенькам к морю, точнее на пляж. Там был летний павильон, обезлюдивший, пустынный. Но стульев по-прежнему было множество. Он садился на один из них и долго курил. Песок был слабо освещен потусторонним, чуть голубоватым светом, фонари с набережной доставали и сюда. Где-то света было побольше, где-то поменьше. Потом он вставал, подходил к морю и некоторое время шел вдоль прибоя. Волны накатывали и накатывали из темноты, зло, упрямо. Белизна их гребней была холодна, неприятна, как блеск хирургического инструмента. Вот гряда камней, уходящая в море, волны разбиваются о них, пена летит. Потом он опять поднимался на набережную, уже по другим ступенькам. Шел некоторое время по набережной, потом сворачивал влево, всегда на одном и том же месте. Долго шел мимо детских площадок, мимо часто посаженных деревьев с тонкими, извилистыми стволами. Если смотреть с некоторого расстояния - как потеки краски на стекле. Потом вновь оказывался на улице Йерушалайм, теперь приходилось уже подниматься. Все тротуары были заставлены машинами - все больше японскими или там корейскими, недорогими, хотя он в этом мало что понимал. Приходилось пробираться между ними. Иногда это ему надоедало, и он шел прямо по дороге. Еще немного и он дома.

Иногда он расширял маршрут и шел до конца набережной. Там он сворачивал влево, некоторое время шел по парку. Обычный небольшой парк - зеленое пространство коротко, ровно стриженой травы, в солнечную погоду - почти биллиардное сукно. Несколько пальм, кусты. Иногда кипарисы отдельной группой. Кипарисы здесь довольно драные, потертые какой-то шинельной потертостью. В Ялте они куда более впечатляющи. Некоторые кривоватые, разлапистые, чем-то жутковатым, колдовским веет от них. Такие иногда встречаются целыми рощицами, и кажется, что здесь должны водится какие-нибудь кикиморы и прочая нечисть. Потом он оказывался среди плохо освещенных, одинаковых улиц. Из них потом нужно было долго выбираться. Выходил он на улицу Мивца Синай, где было отделение их банка и магазинчик, куда жена часто ходила за продуктами. Это уже пять минут до дома.

Но такие удлиненные прогулки по Бат-Яму случались редко. Особого удовольствия они не доставляли. Не торопясь покурить у моря - это было хорошо.

Как-то раз, уже ближе к лету, он оказался посреди пространства, заросшего ярким, ядовито-зеленым, сочным бурьяном, что-то фантастическое было в нем, как будто из фильма про далекое прошлое или далекое будущее. Море было неподалеку, хотя видно его не было. Бурьян рос не везде, еще были просветы красно-рыжей почвы, цвета консервированной кильки в томате, может чуть помягче. По этим просветам он и ходил, почва то и дело пугающе проседала под ногами. В ней попадались довольно крупные дырки, норы для какой-то живности. На них он тоже поглядывал с опаской. Ходить по бурьяну он тем более не решался. Очень уж он был густ и мог таить в себе множество всяких живых сюрпризов. Ему как-то долго было не выбраться из этого пространства бурьяна.

Потом он сидел на скамейке у дороги к морю. Море мерцало уже совсем близко. На другой стороне дороги, прямо перед ним, росли кусты. Вдруг он увидел, что из этих кустов на него смотрит черная, маслянистая змеиная головка. Всю змею было не видать, но довольно длинный промежуток ее от головы было хорошо видно. Впрочем, это была наверно не змея, а ящерица. Откуда-то он знал, что есть такие

ящерицы без лап, похожие на змей, но являющиеся тем не менее ящерицами. Он чуть-чуть наклонился вперед, желая получше ее рассмотреть. Ящерица тут же исчезла в кустах. Некоторое время спустя он обнаружил, что ящерица опять на него смотрит из тех же кустов, совсем рядом с тем местом, где он первый раз ее заметил. Он было опять захотел рассмотреть ее получше, но та, казалось, угадывала самое его намерение и сразу же пропала. Так было несколько раз, пока он не сдался.

Потом он бродил по какой-то обширной замусоренной местности. Море было рядом, чаще его не было видно, но иногда оно появлялось, синее, мерцающее.

Вдруг он увидел варана. Даже не увидел, взгляд лишь на мгновение зафиксировал его, унесшегося под иссыхающий на солнце автомобильный остов. Неудержимый рывок бешеной мощи и скорости. Варан напомнил ему картинг, низко посаженными и далеко отнесенными от туловища, перпендикулярными ему лапами. Довольно неуклюжая с виду конструкция. Но быстрота, с которой он исчез, несмотря на свои габариты, кажущуюся неуклюжесть лап, вызвала оторопь. Неожиданная быстрота танка, несмотря на его родство с бульдозером.

Город отсюда был совсем близко. Но у него долго не получалось выйти к нему: все время он упирался в помойки, которых было много на этом участке побережья.

Пару раз он наведывался в бар, где собирались англоязычные. Сам бар находился на тель-авивском пляже. Американца здесь он не одного не встретил. Зато здесь были: шотландцы, англичане, новозеландцы, австралийцы, южноафриканцы. Особенно много было почему-то шотландцев. Что-то носит их по свету. Сам он, по приходе туда, садился на вертящееся круглое сидение перед стойкой и пил пиво. Что было довольно дорого. Можно было бы и кока-колу, но это было бы как-то несолидно, тем более, что все вокруг дули пиво. Почти у всех у них был вид, как будто они сошли с конверта рок-пластинки. И часто очень характерные, английские черты лица, представление о которых он успел составить хотя бы по тем же рок-пластинкам. Именно среди таких людей зарождалась эта музыка. И в

таких же наверно тусовках. Он думал об этом, и ему почему-то было грустно. Ведь они, сами не зная того, благодаря пластинкам стали для него чуть-чуть своими. А он не стал для них своим. Он сидел, пил пиво, стараясь как можно дольше растянуть один объемистый бокал, а они колготились, пьяно орали вокруг. С ним они не заговаривали. Он сам иногда заговаривал с кем-нибудь из них, из тех, кто оказывался поближе, спрашивал, как бы для начала, откуда, как попал в Израиль. Те отвечали не то, чтобы неохотно, но и безо всякой охоты. Наверное, спроси он у них еще что-нибудь, они так же бы ответили. Но он после первого раза понимал, что, пожалуй, достаточно. Он им был неинтересен. Они сразу же слышали его акцент. Еще там, на родине, ему нередко доводилось во время его многолетнего, упорного, кропотливого изучения английского языка говорить с американцами, англичанами. Там это был светский разговор, поддерживать его требовала вежливость. А здесь свои пришли пообщаться со своими. И разбирать, что он там сказал и специально говорить так, чтобы он понимал, никому здесь было не надо. Даже если он и говорит по-английски достаточно хорошо, чтобы поддерживать разговор без мучительного вслушивания, без мучительного переспрашивания, все равно - не надо. Им и так хорошо. Здесь Саша впервые очень остро ощутил, какой у него плохой, ненастоящий английский. Раньше, в России, англичане-американцы хвалили его английский, но сам факт такой похвалы говорил о том, что он для них не свой. Язык существует не для того, чтобы поражать кого-то неожиданно хорошим его знанием. На нем говорят, живут. Все это, если вдуматься, Саша и раньше понимал, но только очень уж не хотелось думать об этом, когда он с жаром предавался изучению английского и медленно, но верно шел вверх и вверх. А здесь его грубо ткнули носом в истинное положение вещей. Дали почувствовать всю пропасть между ним и ими. Впрочем, с некоторыми ему все-таки удалось перекинуться парой фраз, даже поддержать маленький разговорчик. Живут они здесь, зарабатывая кто подметанием улиц, кто мытьем посуды, кто еще чем-нибудь. Когда надоест одно место, переезжают на другое, деньги на перемещение к

тому времени уже накоплены. Многие здесь уже неоднократно побывали и в Египте, и в Саудовской Аравии, и в Тунисе. И гораздо дальше. В общем, народ бывалый. У них можно почерпнуть массу интересных сведений. Голландия, например, хорошая страна, там траву никогда не фуфлят. Не то, что, скажем, в Лондоне. А в Саудовской Аравии водки не купить. Только в каких-нибудь дорогих отелях. В Таиланде все очень дешево, рекомендую. В Кении, прикольно, солнце над самой макушкой. Задерешь голову, а там - солнце. Экватор. Наверняка он смог бы узнать еще больше, несравненно больше, бывай он здесь чаще.

Два новозеландца разожгли костер на площадке перед баром. Была зима, костер был очень кстати, тем более, что большинство из них было одето совсем по-летнему. Вокруг костра быстро образовалась довольно большая, плотная толпа. Он передвигался, почти протискиваясь, по этой толпе, среди английской речи, оказывался у самого костра; когда жар на лице становился нестерпимым, перебирался куда-нибудь подальше от него. Немного поговорил с плотником из Мельбурна. У плотника было бурое лицо нашего пьющего пожилого работяги, только очень англосаксонское. Даже слегка забавно. Плотник с готовностью отвечал на вопросы, но разговора не поддерживал. В Австралии работы не было. Махнул в Штаты, объехал почти всю страну. Пару лет жил в Канаде. В Израиле уже три года. Здесь работы хватает. Потом какой-то араб поинтересовался у Саши, откуда он. Попытался угадать: Германия, Финляндия. Узнав, что Россия сделал какой-то неопределенный успокаивающий жест: ничего, мол, Россия так Россия, тоже не страшно. «Не стыдно, ты имел в виду» - подумал Саша. А я вот валить отсюда собираюсь, сказал араб Саше, очень доверительно.

Потом Сашино внимание привлек парень примерно его возраста, стоявший в некотором отдалении от общей толпы. Кожаная истертая куртка, истертые джинсы. Испугала худоба его бедер, почти одна кость, без мяса. Парень стоял и смотрел перед собой. Иногда отблеск костра падал на его лицо. В один из таких моментов Саше показалось, что у него слезятся глаза. Но они не слезились. Присмотревшись, Саша вдруг понял, что было в этих глазах. В них

было отчаяние, уже ставшее привычным за многие годы, как бы даже уже стершееся. Но это было оно. К парню подошел кто-то, что-то спросил. «Из Лондона» - ответил парень, продолжая смотреть, как смотрел.

Ну выучит он их язык как следует, а что дальше? Путем многолетних изнуряющих усилий он добьется наконец, что они будут принимать его за своего. И этот искусно изготовленный муляж, который все принимают за человека, и есть его цель? Это была его цель, когда он только начинал изучать английский? Да нет, наверно… Его влекло, вело что-то с самых детских лет, он и не знал что. Вело, вело и вдруг привело на побережье Средиземного моря, в бар, где он пьет пиво с шотландцами и новозеландцами, и его дом далеко, и тоска, тоска, ничего, кроме тоски…

Здесь вечно занят туалет. Иногда даже образуется небольшая очередь. Ладно, надоело их ждать. И вообще, пора домой, насиделся. Насмотрелся. Сейчас спуститься к морю, оно тут же, под боком. Потом стоять в темноте, смотреть, как разбиваются волны. Редкие огни у горизонта, почти неподвижные, как минутная стрелка.

Какая-то возня наверху. Кто-то, похоже, спускается. Шлепнулся, проехался, похоже, задом. Длинно выругался, понятно только «фак». Пора подниматься.

III

Дни шли. Похожие друг на друга. Он не заметил, как пришло лето. Когда подъезжал к зданию IBM, отрывал спину от спинки автобусного сиденья - спина была вся мокрая. А когда утром перед работой курил у своего подъезда, чувствовал, как солнце сквозь рубашку жжет грудь. И так и пошло - жара, жара, жара.

Ему приснился беломор, который он уже лет пять не курил. Он держит в руках неначатую пачку, отрывает бумагу в углу, так, чтобы получился квадратик, из которого можно доставать папиросы, потом стучит пальцем по пачке, наклонив ее, чтобы наполовину, на треть,

высунулась папироса. Так он всегда делал, когда еще курил беломор. Папироса не хочет вылезать, потом вылезает, он сминает ее полое основание на свой старый обычный манер, потом закуривает. Проснулся он со жгучим желанием покурить беломора, которого здесь, конечно, не было.

«Замерзая, я вижу, как за моря солнце садится, и никого кругом…» - он твердил про себя эти строчки из Бродского, проезжая на восьмом автобусе мимо тель-авивской набережной. За набережной - пляж. Все тонет в солнце. Струйка сбежала из подмышки, хоть в автобусе и есть кондиционер, но он сидит около окна, все равно печет сквозь стекло. Солнце, море, пальмы, люди, лежащие на пляже, люди, выходящие из моря. Зной, какая-то ирреальная высветленность, как на картинах Сальвадора Дали. «Замерзая, я вижу, как за моря солнце садится и никого кругом» - повторял он с каким-то мстительным упоением, угрюмо смотря на все это из окна своего автобуса.

Когда ему впервые пришла мысль о возвращении в Россию?

Страстное, какое-то даже маниакальное желание во чтоб это не стало покурить беломора, который он уже пять лет не курил.

Как-то в айбиэмовской столовой сидели с Виталием, обедали. На обед была утка. Вдруг, посреди обеда, он понял, что сейчас не сможет проглотить кусок. Ком стал в горле. Он вспомнил, как мать делала утку с яблоками, его любимое блюдо. Тогда еще была зима. Та столовская утка, кажется, тоже была с яблоками.

Осень. Ярко-желтая, болезненно-красивая листва, еще не опавшая, еще довольно густая, перед окном его комнаты в родном доме. И эта желтизна осенних листьев, и легкий морозец, и подмерзшие за ночь лужи в бульдозерных следах неподалеку от его дома, пар изо рта, все это несколько дней преследовало его, временами наплывало так, что он на минуту-другую отключался от всего, что происходило вокруг, и с усилием, как будто за волосы, приходилось втаскивать себя обратно в реальность. В израильскую реальность. Кажется, это было тоже зимой.

Или он сидит с двоюродным братом на кухне, уже второй час ночи, и как-то очень хорошо, уютно в поздний час на кухне, и они то и дело подогревают и наливают чай.

Но когда же в самый первый раз? Прошло, кажется, только две или три недели как он работал и еще даже не успел как следует отрадоваться по этому поводу. Он стоял на лестничной площадке в здании IBM и курил. Утром сделал небольшую работку по поручению Зорика и теперь болтался без дела. Было мерзко. От недосыпу, от скуки, от множества выкуренных сигарет, от множества выпитых пластмассовых стаканчиков какао. И вдруг мысль: какого черта я здесь делаю? Что я здесь забыл? Зачем мне это все? Так может лучше в Россию вернуться? Конечно, надо возвращаться! Здесь же нечего делать, это же абсолютно ясно! До сих пор ему не приходило в голову и тени подобной мысли. И теперь она поразила его своей новизной и неожиданностью. И главное, как просто! Вот оно - решение. Нечего особенного и делать не надо, просто взять и вернуться. Он внезапно почувствовал себя счастливым, ослепленным счастьем. И строфа из Бродского, которого он постоянно тут читал, внезапно вспомнилась ему: «Среди вечерней мглы мы здесь совсем одни, и пальцы мои теплы, как июньские дни». И эта последняя строчка «И пальцы мои теплы, как июньские дни» показалась ему символом, кодом - дома, России, безмятежности, счастья… Ему вдруг представился летний вечер на дворе перед домом в поселке городского типа, где он когда-то жил очень давно… Закат, медленно сходящие на нет красноватые полосы на стволах сосен, клубок вьющейся мошкары, начинающаяся прохлада, книга, оставленная на деревянном крыльце. Запах креозота от коричневых шпал, шорох гравия, тенькание проводов над головой, ослабленно повторяющее себя, сходящее как бы на шепот, уносящееся, пропадающее где-то далеко впереди.

И пальцы мои теплы, как июньские дни…

Если бы можно было захотеть вернуться и сразу вернуться, а еще лучше просто сразу очутиться там, где хочешь, он бы, наверное,

так и сделал. Но тут были свои, как бы это выразиться, нюансы. Хорошо было уезжать. Время от времени заполнять и сдавать бумаги, а оно все идет своим чередом. Билет бесплатный, и по прибытии еще деньги дают. Самое трудное было не уехать, а жить в Израиле. Но его жизнь здесь наладилась мигом, можно сказать, сама собой.

Чтобы ему вернуться в Россию, необходимо было отдать государству Израиль часть тех денег, которые оно на него потратило. Или ждать два года, тогда долг будет списан. А они купили компьютер, стиральную машину. Короче, чтобы накопить требуемую сумму, надо ждать где-то до ноября-декабря. Уезжали они в ноябре, и приедут в ноябре или даже попозже.

Ну что ж, ты хотел моря с пальмами? Получил? Теперь нужно отрабатывать.

А как же его жена? Ей-то здесь явно нравилось. Она учила язык, приживалась, обзаводилась новыми и новыми знакомыми - благо, русскоязычных здесь море, строила планы - переехать в лучший район, купить машину, квартиру. Он и не заметил, как так вышло, погруженный в свои взвешивания и принюхивания. А у нее, - как странно, действительно! - оказалась еще и своя жизнь, ей хотелось еще и жить самой, а не только мотаться за ним, в качестве багажа. Крыть тут было нечем. Это там, дома, где он жил с родителями и ходил на работу, как в школу, можно было жить, как живется. А здесь ты еще и отвечаешь за других. Слава богу, хоть Вовка еще мал, пока ему везде хорошо - там, где есть папа с мамой.

Дороговато обходятся романтические прогулки к Средиземному морю. И не только, к сожалению, ему; как это ни грустно, приходилось это признавать. И чувствовать себя… ну, скажем, не самым порядочным человеком на свете.

Разговор с женой на тему возвращения произошел в конце января. Она была не слишком довольна. Даже очень не слишком. Хотя удивлена она не была. Но что ей оставалось делать? Своего супруга она успела узнать хорошо.

По пятницам-субботам у них иногда бывали гости. Русскоязычные, разумеется. Большинство из них прожили в Израиле по полтора-два, а то и по три года. Как правило, они были без специальности или с неподходящей специальностью и работали на довольно малооплачиваемых работах. По сравнению с Россией это было, конечно, падением статуса. И они кряхтели от такой жизни. Саша спрашивал у многих: «Так может лучше обратно вернуться?» Эта идея встречалась с пониманием, по крайней мере, не отвергалась с порога. В ответ звучало что-то такое: да, порой думаешь, что может лучше вернуться, но жизнь сейчас там сам знаешь и т.д. В общем, никто, насколько ему было известно, особо не возвращался. Но сама идея не казалась безумием.

И кое-кого из Витальиных и Зориковых знакомых-коллег он повидал. Те тоже были не слишком довольны. Дороговизна на все, к квартирам не подступишься, инфляция, налоги бешеные, зарплаты еле растут. Но насчет возвращения он ни с кем из них и заговаривать не стал - не охота было казаться идиотом. Видно было, что это будет воспринято примерно так же, как предложение совершить самоубийство из-за всех вышеизложенных неприятностей. Ну, может, не так сильно, но, во всяком случае, как что-то и опасное и нелепое одновременно. Если уж ехать куда-нибудь, так это в Канаду. Они работали по специальности. Они были «устроившимися».

Как-то раз он все-таки разговорился с Виталием на тему «жизнь здесь и жизнь там». «Виталий, - говорил он, - ты в своем Житомире и в футбол играл, и спирт казенный пил, и полгорода у тебя, как ты говоришь, было в любовницах. А здесь только пашешь да спишь. Неужели ты не видишь, насколько стала беднее твоя жизнь?» Виталий, скорее, соглашался: да, мол, пожалуй. Но видно было, что вопрос этот для него - чисто абстрактный.

Из «устроившихся» о возвращении не думал никто.

Значит, он столько-то месяцев должен прожить в Израиле. Даже гораздо больше, чем полгода. Временами все холодело в нем от этой мысли. И сразу же хотелось рвануться, вырваться. Это невозможно, немыслимо! И он старался не думать. И даже настроить себя так, что

он не отбывает здесь срок, а просто живет. Потому что иначе невыносимо. Он даже пытался насильно вернуть прежнее состояние - то, которое испытывал самое первое время после приезда. Как будто еще раз влезть в ту шкуру. Ведь ничего, в сущности, не изменилось, так? А раз ничего не изменилось, то и чувствовать я себя буду так же, как тогда, в первое время. В общем, такое перевоплощение ему на некоторое время удавалось. Прежней свежести, остроты, конечно, не было, но общие тона были те же. И действовать, значит, надо так, как и собирался: не сидеть в Израиле, а попытаться ехать дальше. И какая-то лихорадка уезжания овладевала им, и он судорожно хватался за русскоязычную газету с объявлениями иммиграционных фирм. «Иммиграция в Бельгию, Германию, Голландию. Оплата на месте, после получения вида на жительство». «Иммиграция в Австралию, Новую Зеландию, ЮАР». «Визы в США». «Иммиграция в Канаду для независимых иммигрантов». И телефон, или даже два. И, берясь за телефон, он испытывал такое чувство, будто сейчас настанет решительный поворот в его судьбе. И даже не настанет, а он сам себе сделает этот поворот. Жуткое, упоительное чувство. Казалось - позвони только, и ты уже в далеком, зовущем, неизведанном. И он звонил в эти иммиграционные конторы, и ездил туда, выяснял условия, цены и т.д. Выяснял, говорил, что подумает и уходил. И больше не появлялся. Деньги драть эти конторы были горазды. И где гарантия, что заплатишь, и все будет как надо? И ждать придется. И счет на месяцы. В этом, может, и была главная причина, по которой он больше одного раза в одной и той же конторе не появлялся? Если б можно было только позвонить по телефону, нажать кнопку и все - пакуй чемоданы и дуй навстречу приключениям. Но ждать… Ждать он как раз и не мог. Не мог, не умел. Он, в сущности, и в конторы эти совался, чтобы не ждать. Да и денег у них было только-только. Чтобы ввязываться в такую авантюру, надо все-таки иметь их побольше. В конце концов, он не один… Везде заботы, скука. В общем, наступало охлаждение. Он, похоже, и звонил-то в эти конторы только чтобы испытать то самое ЧУВСТВО. Нечто вроде искусственного взбадривания, наркотика. Хотя он сам,

похоже, об этом не догадывался… Да нет, подозревал, но вносить ясность в этот вопрос не хотел.

А когда действие наркотика начинало ослабевать, он начинал мучительно вдумываться: а действительно ли мне это нужно? А действительно ли я хочу в эту самую Новую Зеландию? И вообще, счастлив ли я от того, что собираюсь жить в Новой Зеландии? Непонятно. Чем больше он вдумывался, тем более это казалось ему сомнительным. От этого постоянного вопрошания: счастлив я? счастлив? от этого постоянного мысленного принюхивания ничего яснее не становилось. Скорее наоборот. Тем менее он понимал, хочет ли он в Новую Зеландию или нет.

Было и другое: как только он принимал решение, точнее, как только ему казалось, что он принял решение, ухать в эту самую Новую Зеландию или в какой-нибудь ее эквивалент, тоска по России вспыхивала с новой силой. Не сразу, у него было день-два эйфории от этого самого чувства нового-неизведанного, в которое он вот-вот окунется. Но потом неотвратимо являлась мысль: ведь он теряет Россию безвозвратно, навсегда! Почему-то ему казалось, что безвозвратно, хотя, в принципе, в Россию сейчас путь не заказан… Почему ему так казалось? Тоже, наверное, неспроста… В общем, эта мысль обдавала его таким холодом, что он сразу шел на попятный. И потускневшая мечта о возвращении в Россию вновь обретала краски. И он опять радовался, что нашел-таки, что нужно делать - вернуться, и радость была почти такой же сильной, как и в тот первый раз, когда мысль о возвращении впервые пришла ему в голову на лестничной площадке в IBM. И это тоже был наркотик. Только другого рода, эйфория была какой-то другой. Та была все-таки лихорадочная, тяжелая. И срок до ноября-декабря, который он должен отсидеть в Израиле, первое время не казался ему таким чудовищным, по сравнению с тем, который ему только что угрожал. И опять несколько дней эйфории.

А потом и это чувство предвкушения возвращения притуплялось. И боль утраты отступала. Потому что теперь Россия была уже, можно сказать, в кармане. И более того: жизнь в ней начинала казаться вовсе не идиллической. И теперь его посещали картины из жизни в

России, но теперь ничего сентиментального в них не было. Не осенние листья и не ночные чаепития на кухне, а давка в метро, топанье на службу по слякоти под пронизывающим ветром, телевизор, вещающий о всеобщей катастрофе. Вспоминал тамошнее свое прозябание, беспросветность…

Короче, вспоминал, почему уехал.

Да и чего бы не съездить в Новую Зеландию или там, в Канаду годика на два, мир посмотреть, английским поовладевать? Он еще не такой уж старый. В Россию-то, в конце концов, всегда можно вернуться. А в Новую Зеландию из России вряд ли когда-нибудь выберешься. Так что нет, надо еще поездить, посмотреть мир, а в Россию, как на тот свет, всегда успеешь… И круг замыкался.

Такое вот метание между Россией и Новой Зеландией, между двумя эйфориями. Неопределенное болтание, нежелание сделать окончательный выбор. Наверное, ему казалось, что он еще должен что-то п о н я т ь .

И действительно: в перерывах между эйфориями он порой пытался, так сказать, трезво взвесить: а что я все-таки больше хочу: жить за границей или в России? Взвесить все плюсы и минусы. Но плюсов и минусов было так много. Да нет, при желании все их можно, пожалуй, перечислить, но главное в другом: насколько хорош тот или иной плюс? насколько плох тот или иной минус? Даже если на одной стороне сто плюсов, а на другой - всего один минус, этот минус можно сделать настолько плохим, что он перевесит все те сто плюсов. Ну и наоборот. А хорошесть или плохость плюса или минуса определялась одним - его сиюминутным настроением. И больше, увы, ничем. У него трещала голова от этого трезвого, беспристрастного взвешивания. И только какая-нибудь из эйфорий давала отдых его бедной, беспристрастно взвешивающей голове, когда по прихоти его настроения какой-нибудь из плюсов разрастался до таких размеров, что все жалкие минусики становились совершенно несоизмеримы с ним.

А иногда бывало и так: уже решив вернуться в Россию он вдруг хватал газету и звонил в очередную иммигрантскую фирму, еще даже не успев толком понять, зачем он это делает. Действительно, зачем он это делал? Чего он хотел? Обмануть себя, судьбу? Железный,

неумолимый порядок, царящий в этом мире? Выскользнуть, спутать его планы в последний момент?

Ближе к лету он бросил звонить по иммигрантским конторам. Он больше не верил в них. Он больше не верил в заграницу. В заграницу для себя. Вроде и плюсы и минусы остались прежними, и можно было до посинения их беспристрастно взвешивать. Но он больше НЕ ВЕРИЛ.
И наконец он додумался, что взвешивать тут нечего. Весы будут показывать каждый раз разное. И надо или возвращаться, или оставаться. Без всякого взвешивания. Вот и все. Точка.

Упоительное чувство неизведанного, боль утраты… Это же одно и то же. Они существуют только вместе. И разделить их невозможно.

Да, поступком, только поступком, спорным, необязательным, неубедительным, но существующим вне его, он может спастись. Иначе его растащат на части, измельчат, уничтожат эти его принюхивания, минутные предпочтеньица, мимолетные галлюцинации. Поступки - это наш внешний скелет. Без них мы бы просто растеклись по земле.

Наступил хамсин. Он всегда бывает в начале и в конце лета. Он так и не понял, что это такое: то ли ветер не то с Синайского, ни то с Аравийского полуострова, ни то просто «явление природы». Все, у кого он спрашивал, говорили разное.

Это было примерно так: он сидел в IBM и видел в окно, что на улице пасмурно. Низко нависшее, ровное, пепельное небо. Уходил с работы, открывал дверь на улицу в невольном предчувствии, что сейчас вступит в прохладу - пасмурно же. Вступал в раскаленный воздух. И это было дико - жар без солнца. Шел до остановки - мимо проезжала машина, обдавала ветерком - и мутилось в голове. Непонятно, светлее или темнее, чем обычно - вроде бы темнее, но сам свет, казалось, был иной природы - какой-то более интенсивный, концентрированный, безжалостный. Его было меньше, но действовал, п р о н и к а л он сильнее. И это низкое, давящее небо… Он стоял на остановке, смотрел на проходящих мимо людей, на проезжающие мимо автобусы, машины, и какой-то тайной, каким-то жутковатым

подтекстом веяло на него от них. Хамсин как будто подменил все вокруг, подменил каждого человека, каждую машину, каждый дом, каждое дерево его почти неотличимым двойником. Почти… Опять, было похоже на сюрреалистический фильм.

Хамсин простоял три дня. Это немного.

Однажды когда восемнадцатый автобус остановился на небольшой площади перед тем как поворачивать на улицу Ибн-Гвироль, по которой он часто ходил с работы до девятнадцатого автобуса, для прогулки, когда автобус остановился, брал пассажиров, хлопал дверьми, он вдруг понял: все. Велогонщики, он слышал, берут с собой бутылочку с глюкозой, потому что наш организм так устроен, что ему необходимо все время что-то окислять, и посреди дистанции может оказаться, что окислять ему больше нечего, и бесполезно делать дальнейшие усилия, так же бесполезно, как пытаться поехать на машине без бензина, и тогда надо пить эту самую глюкозу, и тогда организму станет что окислять и тогда можно ехать дальше. А сейчас ему вдруг стало ясно, что окислять ему больше нечего. И нет никакой бутылки с глюкозой. Приехал. Ходил на работу, совершал прогулки, ужинал, смотрел телевизор и как-то все вроде было ничего, но теперь - приехал.

Но он же хотел небольшого уютного мирка, небольшого, чистенького, как израильский скверик. И получил его. Но плата оказалась непомерно высока. Он, по крайней мере, был не в состоянии заплатить. Для европейца все китайцы похожи друг на друга. Все здесь для него было китайцами: дома, предметы, люди. Бесконечный шлейф ассоциаций, который сопровождал буквально в с е в России здесь отсутствовал. Или не шлейф, а озоновый слой, который охраняет нас от невидимой, но смертоносной солнечной радиации. А небольшой уютный мирок обернулся одиночной камерой. Это, впрочем, одно и то же, они и не существуют по отдельности, уютный мирок и одиночная камера, это смотря как назвать, как посмотреть. И если ты почувствовал свой маленький уютный мирок одиночной камерой, значит так тому и быть. Теперь это для тебя - одиночная камера. И

как не напрягай зрения, ты уже не увидишь в одиночной камере свой родной мирок.

Он уехал, точнее, бежал из России из мира, который ему был слишком велик. Огромен, ужасен, непредсказуем. С ледяными сквозняками из бесконечного множества щелей, которые нельзя заделать, а можно только о них не думать. Он бежал, чтобы спрятаться, чтобы найти убежище от него. Но как богат был тот мир! С каким огромным, бесконечным количеством подробностей, красок, воспоминаний! Это был воздух, которым он дышал, не замечая его, или это были вещества, так называемые витамины, которых человеку нужно всего ничего, какие-то микроскопические дозы, но без них начинают шататься зубы, выпадать волосы… Авитаминоз.

И в своем маленьком уютном убежище он получил его - авитаминоз души. Казалось все мыкания позади, успокоение, умиротворение души, которого он так жаждал все эти годы - вот оно, но нечем дышать, чернеет перед глазами, ходишь, держась за стенки.

А тот мир был прекрасен. С огромным количеством подробностей, красок, воспоминаний - это и есть прекрасен. Для умеющего видеть. Умеющий видеть найдет в нем в с е, что ему нужно. А здесь он разучился видеть. Он видит то же, что и все. Может быть, чуть больше. Значит это уже не он. Если он разучился видеть - это уже не он. Эта какая-то оболочка, муляж его, подделка под него. Большинство людей, впрочем, так наверное и живут, подслеповатыми, приглуховатыми. Но какое ему до них дело!

Он сгнил, высох и осыпался внутри. И теперь там пустота. И жутко созерцать эту пустоту.

Так значит, - в Россию. Все. Там все-таки жизнь.

На работе неожиданно возник новый проект. Вернее, не совсем неожиданно, Юра последние месяца полтора о чем-то таком поговаривал. Но вдруг оказалось, что нужно бросать насиженное место в IBM с прекрасной дешевой столовой и отсутствием поблизости начальства и переезжать в «мисрад», проще говоря, в офис, еще проще - в контору. Там Шимон со своей преданной секретаршей Хаей,

и поэтому, под его неусыпным оком, придется приходить не позже девяти и уходить не раньше, чем он уйдет. И отводить душу в трепе тоже не будешь. И в IBM, правда, особенно не разговоришься - работу-то делать надо, но все-таки. Саша не особенно это понимал, ему хотелось какой-нибудь новой работы, поинтереснее, такой работы, в которую можно уйти с головой, раствориться. Ему это было нужно как никогда. Поэтому он с энтузиазмом воспринял эту диспозицию. Но физиономия у Зорика была кислой. Саша потом быстро понял почему. Виталия оставляли в IBM, там он был нужнее.

Теперь Саше подходил только один автобус - сорок второй, а раньше подходил и восемнадцатый, который ходил гораздо чаще. Вставать приходилось раньше - к девяти нужно обязательно быть на службе. Если приехать раньше, тоже не худо. Добираться, от двери до двери, где-то около часа, примерно так же, как и до IBM. От остановки мисрад недалеко. Потом лифт, на четвертый этаж, потом закрыть за собой дверь уже в мисраде, сказать «Шалом» Хае. Нужно еще зыркнуть, в пределах ли видимости Шимон, чтобы не получилось, что ты с ним не поздоровался. Но он, как правило, в своем кабинете, и от входа его не видно. Поздороваться с ним случай еще представится. Дальше - на свое рабочее место.

Мисрад - это как бы холл или гостиная, где сидит Хая за своим секретарским столом; еще, если смотреть от входа, кабинет Шимона в левом углу, маленький кабинетик Юры напротив, и справа комнатка, где стоят три терминала. Для троих она определенно тесновата. Еще есть зал, где проводятся всякого рода совещания, встречи с клиентами, если их больше двух. Тоже не слишком просторный. Там стоит внушительный длинный стол, занимающий три четверти комнаты, стулья и доска для докладчика. Еще есть совсем маленькая комнатка, где можно найти растворимый кофе, пакетики с чаем, сахар, вафли, печенье. В холодильнике кока-кола и просто вода. И наконец, еще одна комнатка, где стоят сами машины, ЭВМ. В целом, в офисе было не слишком просторно.

Курить - на улице. Среди мотороллеров, стоящих на месте, приезжающих и уезжающих, вероятно с какой-то корреспонденцией. Подкатывали они очень лихо и норовили вынырнуть откуда-нибудь

сзади, Саша едва удерживался, чтобы не отскочить - еще, кажется, чуть-чуть и наедет. Сами же ездоки на мотороллерах, резко тормознув в каком-нибудь полуметре от Сашиного зада, были абсолютно спокойны. Они, вероятно, действительно были мастерами своего дела. Скорее Саша сам мог бы сдуру сунуться им под колесо. К вечеру, правда, курить можно было и на лестничной площадке - это тут же, у входа в мисрад. Туалет тоже на лестничной площадке, у лифтов. Зорик рассказывал, что раньше туалет был заперт, а ключ лежал на столе у Хаи. Так что раньше, чтобы сходить в туалет, надо было с любезным видом взять этот ключ. Зато хорошо - все присутствующие знали, куда человек пошел - в туалет. Теперь туалет открыли.

Кстати, Хая некоторое время интриговала Сашу тем, что классно говорила по-английски. Можно даже было принять ее за американку. Как-то раз он спросил у Зорика, не американка ли она случайно. Американка, подтвердил Зорик. И Хаей она стала уже в Израиле, у нее было и американское имя - Мэри-Джейн или что-то в этом роде.

Был обозначен крайний срок сдачи проекта - двадцатое августа. И опаздывать было не в коем случае нельзя, потому что заказчик в этом случае больше не будет иметь дело с фирмой. А заказчик, заказывающая организация, был ОЧЕНЬ солидным, на порядок солиднее тех, с кем Шимон привык иметь дело до сих пор. Там и другой престиж, и совсем другие деньги - таких денег Шимон еще не нюхивал. Двадцатое августа - это был, конечно, не последний срок, были и другие сроки, расписанные наперед, года на полтора. Но если сейчас опоздать - этот срок действительно станет последним.

С точки зрения чистого ремесла проект был, как бы это выразиться - ambitious. «Мы опережаем конкурентов где-то на полгода» - это были Юрины слова, сказанные деловито, но и не без торжественности. Была еще одна причина, по которой промедление было смерти подобно - если кто-то опередит, захватит рынок, какая-нибудь американская громадина, то Шимону можно будет забыть о своем проекте. И о тех деньгах, которые он выкинул, этот проект реализуя. И, само собой, - с надеждами, с ним связанные. Короче,

велика хевра - а отступать некуда. Юра сделал все, чтобы Саша и Зорик, которым предстояло быть непосредственными исполнителями - писать программы, прониклись этим настроением. И, по крайней мере, в отношении Саши, Юре это удалось.

Был конец мая.

И началась работа. С девяти до девяти у терминала, небольшие перерывы на обед, на чай, на перекуры. Совещания в Юрином кабинетике (чисто технические, без Шимона), где попутно можно было послушать еще какую-нибудь из Юриных историй, или что-нибудь на бис, в вызове публики Юра не нуждался. Правда, особенно воли себе он уже не давал - сроки, сроки, сроки.

Разумеется, быстро выяснилось, что они не успевают. Юра нервничал, злился. Иногда устраивал разносы, как правило, после очередного посещения Шимонова кабинета. Вернее не разносы - и Саша, и Зорик пахали так, что ясно было, что заслуживают они чего угодно, но не разносов, - а скорее истерики, короткие и очень бурные, шквального, так сказать, типа. Ни к кому он вроде и не обращался, а просто бурно сетовал на то, что не успеваем, но Саша всякий раз чувствовал себя виноватым, хотя и понимал, что его вины никакой нет - их всего двое, а срок, похоже, с самого начала был нереальным. Но Юра, по видимому, на это и рассчитывал - чтоб работник пахал как зверь, да еще и виноватым себя чувствовал, чего-то недодавшим. Раз Саша не сдержался: «Ты что, собственно, имеешь в виду?» Юра тут же вскинул руки к ушам, зажестикулировал: никого, дескать, персонально в виду не имею, ни в коем случае! Но своих шквальных истерик не бросил. Ему, правда, тоже было трудно позавидовать: и с Шимоном ему объясняться, и с людьми из ОЧЕНЬ солидной организации-заказчика. Не им же истерики закатывать? Так что, может и впрямь не мог уже сдерживаться.

Шимон стал намекать, что не худо бы выходить по пятницам. Суббота - священный день, волей-неволей выходной. Шимон не заставлял, намекал. В конфликте он был тоже не заинтересован. И Саша стал выходить по пятницам. Зорик тоже. Саша не мог по-другому, если сроки горят. Еще в России приучился работать, а не

дурака валять. О мотивах Зорика он не спрашивал. Возможно, они были теми же самыми.

Месяца через полтора такой работы он почувствовал, что начинает сдавать. Хлипок оказался. И в России он не бездельничал, но так пахать ему еще не приходилось. Особенно, если еще чувствовать себя при этом чего-то недодавшим родной фирме… Сама работа плюс эта последняя добавка - все вместе, уже пожалуй, чересчур. По вечерам, моя руки в туалете, смотрелся невольно в зеркало. Был бледен, и глаза были красные, как с недосыпу, от сидения целый день за терминалом. Дрожали пальцы. Иногда противно ныло сердце. Когда ждал обратного автобуса - тупо стоял столбом, ощущая небольшие подрагивания в теле, то там, то сям, - ему тупо, смутно думалось: «Умерщвление посредством труда. Да, это знакомо. Широко практиковалось в двадцатом веке. Хотя убери работу - и все перевешаются со скуки. Я сам первый…»

На сон, и вправду, оставалось маловато времени. И приезжал он поздно, и заснуть становилось все труднее - проект, который он весь день делал, с которым он яростно боролся, не хотел его отпускать, варился в голове, не давал отключиться. И он начинал иногда просыпать, приезжал к десяти, а не к девяти, а то и в начале одиннадцатого. Хая здоровалась с ним холодно. Не так, как, судя по кино, принято у американцев. Он внутренне закипал: да я только и думаю, что о проекте твоего чертова Шимона, а ты еще и морду воротишь?! Сам Шимон здоровался не то чтоб холодно, а, скорее, с мягкой укоризной. Или это Саше уже чудилось? Черт его знает! Не спрашивать же: «Что-то ты сегодня со мной как-то не так поздоровался?» В духе семейных сцен. По крайней мере, вслух ему ничего не говорили. Тоже люди понимали. Но эта тонкая психологическая игра становилась для него все нестерпимее.

Дома тоже настоящего отдыха не было. Жена примирилась с предстоящим отъездом, но, он чувствовал, не примирилась с ним самим. Она отказывалась быть частью его багажа. Держалась она вполне корректно, без всяких сцен, но он отлично понимал, что она чувствует. И злился на нее за то, что она абсолютно права. Ясно,

что добросердечия, тепла, все это в их семью не добавляло. Так что и дома теперь - не особо разомлеешь.

С ним вдруг стали случаться приступы головокружения. Особенно во время ходьбы, внезапно накатывало, боялся упасть. Кое-как доходил до какого-нибудь сидячего места и пережидал, отдыхал. Упасть, правда, не разу не упал.

Зорик был покрепче. Хоть и гораздо, гораздо постарше. Но как-то раз пожаловался Саше, что боится, что от такой работы обострится язва. Язву он, оказывается, заработал уже в Израиле, пару лет назад она открылась. Связано ли это с большой загруженностью на работе или с чем-то другим - неизвестно. В фирме Зорик работал уже больше трех лет, и для него такие периоды пахоты не впервой.

В мисраде сидело еще пара программистов - местные. В новом проекте они участия не принимали, доделывали старое. Работали они ровно девять часов в день, как и предусмотрено контрактом. Может быть, это и случайно, все могло бы быть и наоборот.

Кстати, по-английски он стал говорить все хуже и хуже. Хотя практики стало больше - Хая иногда болтала с ним о том о сем, и с Шимоном случалось перекинуться парой слов. Но он уже не хотел да и не мог перевоплотиться в американца. И - как отрезало. Каждое ерундовое слово приходилось теперь нашаривать. И куда делось его американское произношение!

В начале августа Саша получил очередную зарплату. Конвертик, с вложенной туда распечатанной на принтере бумажкой. Там было много цифр, в них при желании можно было разобраться, но Саша смотрел сразу в левый нижний угол, где стояла итоговая цифра. Естественно, сами деньги переводились на его счет в банк, а получение конвертика показывало, что они действительно очередной раз переведены. А из бумажки можно было узнать, сколько именно переведено. В этот раз цифра в левом нижнем углу была значительно больше той, которую он ожидал увидеть. Солидная прибавка к зарплате. Ого! Ведь он договаривался с Шимоном, когда только поступал на работу, что повторный разговор о зарплате будет не

раньше, чем через год. А тут, без всякой Сашиной инициативы… Оценили-таки его труды! Или может это ошибка какая-нибудь? На другой день Шимон позвал Сашу к себе в кабинет. Усадил, закрыл дверь, сам сел, аккуратно пораскладывал бумаги, устраивался. Потом объявил, что Юра очень доволен его, Сашиной, работой. Эрудиция, квалификация, преданность делу. Заметил ли Саша прибавку к зарплате? Да, да, конечно, спасибо, спасибо, мелко кланяясь забормотал Саша. Шимон смотрел на него, казалось, с каким-то непонятным торжеством. Молчал, но и не давал понять, что разговор окончен. Саша ждал. Уже начал немного недоумевать, когда Шимон заговорил. В настоящее время дела у фирмы идут неплохо, говорил он. В этом году, и в следующем, я планирую открыть несколько филиалов за рубежом. В США, в Лондоне, в Милане, в Сингапуре. В каждом филиале требуется технический представитель. Как Саша смотрит на то, чтобы стать одним из них? Двадцать семь лет, высокая квалификация, отличное знание английского. Идеальная кандидатура. Высокая зарплата, все условия. Страна - на выбор. Как Саша смотрит на это?

Саша сидел, оглушенный. Я подумаю, сказал он. Подумайте.

Вот такое свалилось неожиданно на голову. Расскажи он такое кому-нибудь из устроившихся, - разумеется, по их мнению недостаточно хорошо, - у них бы дыханье сперло. Да и у него самого сперло. Сингапур, экватор… Опять в душе что-то взмывает, хотя казалось бы уже… Да и в США, и в Лондоне тоже неплохо. То, о чем он мечтал в России, да и здесь - совсем, в сущности, недавно, - само совершенно неожиданно дается в руки. Это тебе не иммиграционные конторы. Он поедет как белый человек, представителем фирмы, а не на пустое место, иммигрантом. И не из России, по контракту, с клеймом русского, неизвестно на какие условия и с крайне сомнительными правами. Зарплата наверняка будет хорошей. Да и пахать как здесь вряд ли придется: если что-то не работает, прийти посмотреть, что случилось, объяснить, научить. Этот проект он знает отлично, изнутри, а значит большого труда для него это не составит. С точки зрения денег лучше всего в Америку.

Да, наверное туда он и поедет. Америка - это все-таки особая страна, особо притягательная для сердца русского. Не даром ей так завидуют в России, и не как бедный богатому, а как больной, унылый, вечно ноющий завидует здоровому, веселому, беззаботному. Он поедет в Америку. Каждый день он будет ходить на престижную, высокооплачиваемую работу. Он будет цениться как прекрасный специалист. Он будет повышать свою квалификацию. Он будет делать карьеру. Он будет иметь все больший достаток. Он выучит сына в прекрасном учебном заведении. Он купит дом. Он будет путешествовать по Европе, он объедет весь мир. Он грязь елеем царским напоит. Он расточит. А по какому праву? Мне разве это даром все досталось? Или шутя, как игроку, который, гремит костьми да груды загребает? Нет выстрадай сперва себе богатство, а там посмотрим, станет ли несчастный, то расточать, что кровью приобрел. Тот, который в Америке, это будет не он. Это будет какая-то болванка, про которую все, кто его знает, будут думать, что это он, все, кроме него самого… Стоп! Это мы уже проходили. Все это уже понято. Но зачем-то судьба решила слегка поиздеваться над ним.

Зачем, зачем?! Зачем Шимон завел этот разговор?! Он бы спокойно доработал, а потом смотался. А теперь у него трещала голова, опять началось взвешивание. Разумом он все понимал. Нечего ему делать в Америке. Ну что Америка? Компьютерный экран перед глазами… Прошла долговязая девица со свежей распечаткой… Позвякивает ложечка, кто-то размешивает сахар в кофе… Глухо доносится уже давно начатый разговор… Догорающий у самого фильтра окурок в урне, которая стоит в месте для курения… Он очень явственно видел эту картину. Или не эту, а какую-то другую, но по сути точно такую же. Все как здесь. Все как везде. Это и есть Америка. Другой Америки нет. В ее жизнь, в их жизнь ему не втиснуться. Это невозможно, а самое главное - не нужно. Это не нужно, а самое главное - невозможно.

Но что-то в самой глубине его души не желало слушать ничего этого. Оно рвалось с поводка яростно хрипящим, неистовым

волкодавом. Оно не желало ничего знать, оно кричало ему: смотать, свалить, исчезнуть, пропасть, сгинуть, умереть, воскреснуть… Он чувствовал, что сейчас оно рванет, повалит, поволочет за собой… Кем воскреснуть, болванкой? Да, воскреснуть можно только болванкой…

Но ведь это он уже давно понял… Это чистой воды безумие, говорил он себе. Да, безумие.

Нельзя поддаваться ему! Не поддаваться безумию, не поддаваться безумию, твердил он про себя. Тянуть нельзя, завтра же надо сказать Шимону об отказе, твердо и определенно. Безумию поддаваться нельзя. Он не спал в эту ночь, иногда только как будто забывался.

На следующий день все было как обычно. Шимон, естественно, держался так, как будто вчерашнего разговора не было. До он, наверно, и забыл о нем до поры до времени. У него хватало и других дел кроме Сашиной судьбы. Саша решил перенести разговор на вечер. За работой думать о нем было некогда.

Вечером он постучался в кабинет Шимона. «Шимон, мне надо с вами поговорить. Насчет вчерашнего разговора». «А, понятно» - сказал Шимон, отрываясь от бумаг на столе, слегка потягиваясь, озаряя Сашу улыбкой. Ну что, какую страну выбираете? Америка? Англия? Гонконг? Сингапур? Каждую новую страну Шимон называл после мгновенной, но, казалось, тщательным образом выверенной паузы. Саша почувствовал, что вот сейчас, сейчас все сорвется и полетит к черту, сейчас он ляпнет какую-нибудь из этих стран… Но нет… Как будто что-то хрустнуло в мозгах…

- Russia, - сказал он.

Да, он понял еще кое-что. Еще одну причину, по которой он отклонил предложение Шимона. Наверное, он всегда это понимал в глубине души. Но в самой, самой глубине. Просто понимать, не в глубине души, он, наверное, не хотел.

Да, он понял, что изменился. Но что он так долго не хотел понимать было следующее: он способен жить и таким, измененным.

Пусть он будет болванкой, живым трупом, но он привыкнет и к тому, чтобы быть болванкой. Привыкнет настолько, что будет ощущать себя не болванкой, а вполне нормальным человеком. Каким? Этого сейчас нельзя сказать, да это и неважно. Это будет уже не он, а другой, возможно, вполне собою довольный. Но изменения, которые произошли в нем, скоро станут необратимыми. И в Россию он больше никогда не вернется. Не надо тешить себя, что вот он пару лет посмотрит мир, а потом вернется. Он не вернется. И когда он бегал по иммиграционным конторам, он уже тогда бессознательно понимал это, потому всякий раз и отступался.

Это и было тем, в чем он боялся себе признаться: настанет день, когда он поймет, что ему не нужно возвращаться в Россию. Не нужно, незачем, да и не тянет. Тот, будущий тот, совершенно не будет нуждаться в том, без чего не мыслит жизни он настоящий. И он способен стать тем, будущим и м. Да, способен. Не помрет, не рассыплется пеплом, а будет жить как ни в чем ни бывало. Жрать, ходить, спать. И даже чувствовать себя счастливым.

Эта СПОСОБНОСТЬ ЖИТЬ НЕ СОБОЙ ужасала его. Она была отвратительной, противоестественной, кощунственной.

Тогда же Саша и объявил Шимону, что увольняется. Конечно, после того, как отработает два месяца - в полном соответствии с контрактом. Шимон не стал расспрашивать о причинах отказа. За свою жизнь он успел убедиться, что люди бывают самые разные, и если разбираться в мотивах каждого, не хватит времени на собственные дела. Он сам, в конце концов, приехал из благоустроенной Франции, где родился и вырос, в гораздо менее благоустроенный Израиль только потому, что считал, что еврей должен жить в Израиле. Значительно больше его интересовало, как найти для Саши полноценную замену. Сашин уход был ударом, вопрос только, насколько ощутимым.

Юра был удивлен больше, имея сходный с Сашиным советский, а потом иммигрантский опыт. Но тоже не особенно допытывался. Он был тоже человеком дела.

Двадцатого августа положенная часть проекта была закончена. Они успели. Заказчики были очень довольны. Восхищались принятыми техническими решениями. Признавались Шимону, что, честно говоря, не верили, что здесь можно успеть. Шимон поздравлял своих подчиненных. Купили бутылку чего-то спиртного, несколько тортов и устроили торжественную пирушку в зале для докладов. «Железная дорога!» - как будто что-то вдруг вспомнив, сказал Саша, сидевший рядом с Зориком. «А по бокам-то все косточки русские!» «Верно!» - изумился Зорик.

Несколько дней в мисраде царила расслабленно-приподнятая атмосфера. А потом опять начали пахать как и прежде. Впереди был новый срок - первое ноября. Такой же нереальный, как и тот, в который они только что уложились.

Но Сашу это уже не касалось.

Он уволился ровно через два месяца после разговора с Шимоном. Была середина октября. Солнце жарило по-летнему. Казалось, жара будет длиться вечно, он уже начал изнемогать в ожидании ее конца, все-таки слишком, слишком долго она длилась. Как вдруг разом наступила зима. Промозглый холод, как будто набухшее от воды, беспросветное небо. Прошлая зима начиналась совсем не так; постепенно, незаметно, она брала свое. На тот новый год он еще ходил в рубашке.

Собственно, уже можно было и уезжать. Но дело в том, что заграничный паспорт выдают только через год пребывания в стране; тем самым получающий становится полноценным гражданином государства Израиль. Глупо уезжать, не став им. Мало ли чего. И жена, и родители по телефону внушили ему эту мысль. Он не нашел, что возразить.

Значит, опять нельзя уехать сразу, как только захочешь. Ждать еще около двух месяцев. Ну что ж, последний рывок, если ожидание, бездействие можно назвать рывком.

По утрам, когда он только просыпался, его первой мыслью было: еще нужно как-то прожить целый день. И ужас накатывал на него. Он утешал себя, что два месяца - не срок, что пахота кончилась, и теперь можно наконец отдохнуть, но что-то плохо утешалось. Работа, по крайней мере, хоть как-то отвлекала, хотя и изматывала. Он не верил, что выберется отсюда. Ему суждено сдохнуть и быть закопанным в Израиле. Непонятно даже было, чего ему больше хотелось - уехать из Израиля или приехать в Россию. По крайней мере, чем ближе подходил срок, тем неистовее становилось желание уехать, вырваться, а мысли о России, о предстоящей жизни там, даже как будто отступали. Да он и наперед знал, что лучше, чем было раньше, для него там не будет. Здесь он потерпел поражение, а там… Что об этом думать.

Как огромен соблазн необходимое условие считать достаточным! Вот ты нашел что-то, без чего, оказывается, нельзя жить, обрел это, и, кажется, - уж больше ничего не надо! Но нет, надо. Надо…
И сколько их, этих необходимых, но не достаточных условий? Имеет ли этот список конец?

Делать было абсолютно нечего. И даже на пляж теперь не пойдешь - хоть и были дни без дождя и даже с солнцем, холод уже остался, чувствовалось, что навсегда, до следующего лета. Спасали его компьютерные игрушки. Он набрал их целую кучу и часами сидел за компьютером, играл до одурения. Смотрел телевизор. Гулял по своим старым маршрутам.

Он вспоминал то последнее утро, когда он стоял у подъезда, под зарешеченной аркой и курил. И ярость поднималась в нем, и он как будто клялся отомстить кому-то за этот день.

Теперь солнечных дней совсем не стало. Шел нескончаемый дождь. Он записался в русскую библиотеку, давно бы пора. Ассортимент был в ней крайне скуден, но классика была - собрания сочинений, в которых не хватало некоторых томов. Совершенно

советская, пожилая библиотекарша, портрет Ленина на стене. Он взял письма Чехова.

Когда читать надоедало и сидеть дома было невмочь, он брал свой покалеченный зонтик и отправлялся шататься по израильским хрущебам, одинаковым, в каком бы направлении не идти, в сером сумраке, под нескончаемым дождем, среди вывесок на иврите, который он так и не выучил. «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины?» - почему-то часто вспоминалось ему.

Он стоял в комнате в одних трусах, одна нога на полу, другая на диване. Окно было открыто, и комната была залита солнцем. Показалось-таки после стольких дней дождя. Телевизор работал, какой-то спецназ двигался по экрану, в шлемах, с автоматами, с какими-то сетками. Шли рассредоточившись, медленно, выверяя каждый шаг, но без заминок, неотвратимо, шли по серой, как будто давно уже не жилой улице с щедрыми пульверизаторными росписями на стенах. «IRA» - машинально прочел он одну из них. Пел, или даже как будто причитал женский голос, временами тянул вверх, вверх, разрывая душу.

И вдруг он увидел все это вместе: холодный, чистый осенний воздух, холодно, ясно светящее солнце, вечную зелень во дворе, это причитание-плач, самого себя в одних трусах, стоящего неподвижно. И тоска с новой, свежей силой сжала его. Пустота и немного слез.

До отъезда оставалось еще около трех недель.

Последние дни перед отъездом. Уже куплены билеты. И он понемногу начал верить, что уедет. И стал бояться попасть под машину.

Последние дни перед отъездом. Ему приснился сон, где он с женой и Вовкой гуляет по какому-то парку. Он знает, что он в Сингапуре. У него прекрасное общественное положение, его будущее безоблачно, прекрасно. Они гуляют, разговаривают. Он счастлив.

Это ощущение безмятежности, счастья сохранялось несколько минут после того, как он проснулся. И только потом глухая тревога

начала нарастать в нем. Зачем этот сон? Неужели опять все начинается по новой?

Неспроста был этот сон. И не к добру.

Он засиделся допоздна за компьютером, раскладывая пасьянсы, убивая чудовищ. Испытывал смутный дискомфорт от того, что уже очень поздно, но никак было не оторваться от этого дурмана. Когда наконец очнулся, выключил компьютер, на часах было полчетвертого. Надо было покурить после долгого перерыва, он сунулся в пачку, а там оставалась одна сигарета. Он выкурил ее на лестничной площадке, в темноте. Дождь все так же лил, добрызгивая и до него, и из-за неровностей на площадке кое-где образовались маленькие неглубокие лужи, но их было достаточно, чтобы промочить ноги, поэтому пока курил, все время выбирал, где бы лучше стать. Больше сигарет не было. Всю ночь без сигарет - это невозможно. Он не заснет, зная, что не сможет закурить когда захочет. Так что придется выползать из дома. Он взял зонтик, надел куртку поверх рубашки и вышел из дома. Он собирался пойти в ту лавку в Холоне, где он обычно покупал ночью сигареты.

На улице Дов Хоз не было ни души. Все лавчонки, забегаловки были закрыты. Большинство было полностью погружено во тьму; некоторые были слабо освещены каким-то покойницким светом, было ясно, что и здесь жизнь замерла. Вообще было темно, фонари еле светили, с трудом пробиваясь сквозь обвальный дождь, и их стало как будто меньше. Быстро дойдя до своей лавки, он убедился, что и она не работает. То ли из-за дождя, то ли из-за позднего часа. Действительно, так поздно он сюда не совался. Здесь бы ему надо было остановиться, подумать, что делать теперь. Но он плохо соображал, из-за ночи, темноты, дождя, из-за страха остаться без сигарет и ему никак было не опомниться и он пошел, как только мог быстро, дальше по Дов Хоз, углубляясь в Холон. Ночные заведеньица стали попадаться все реже и тоже, естественно, были закрыты. И фонарей стало еще меньше. Шансы купить сигарет все уменьшались и уменьшались. Но он все шел и шел под чудовищным дождем, уже весь взмокший, очумевший, среди сплошного потопа, стараясь почти на

бегу выбирать где посуше, то есть, где тротуар по ровнее, а так слой воды на нем был такой, что все равно ноги начали постепенно отсыревать. Проезжая же часть превратилась в неглубокую, но бурную реку, кое-где даже вспенивались водовороты. Один раз он не рассчитал, и нога провалилась в какую-то впадину, а дальше шел, чувствуя, как в ней уже хорошо, упруго чавкает. Зонтик защищал плохо, тем более он провисал там, где были сломаны спицы; как он его не вертел, все время лилось или за шиворот, или на лоб. Не хватало только простудиться за день до отлета.

Наконец он дошел до своих трех пальм. Остановился. Никогда раньше он не видел их так: темно, вокруг не души, все тонет в дожде. Но они никуда не делись, стояли и мокли. Потемнели от воды. Казалось, они посерьезнели, ушли в себя. Сейчас повернуть налево, и начнется дорога в пампасы. Но ничего не откликнулось в душе. Он смотрел на пальмы и думал, что видит их, пожалуй, в последний раз. Постояли немного, помолчали. Ну, ладно.

Сигарет, таким образом, купить не удалось. Дальше идти было уже точно бессмысленно. Теперь единственный его шанс - рестораны на побережье. С самого начала надо было туда идти. А сейчас надо пройти назад по Дов Хоз - а он порядочно по ней отмахал, - и, дальше, через весь Бат-Ям. Около часа должно занять. И неизвестно, работают ли сейчас рестораны. Но деваться некуда.

Он шел и шел назад, шел и шел. Пересек широченную автостраду, отделяющую Холон от Бат-Яма, дальше вниз по Сдирот Йерушалайм, мимо все той же автозаправочной станции. Яркий, мокрый свет расходился от нее. Кажется, единственная ярко освещенная вещь, попавшаяся ему на пути. Дальше на улицу Ротшильд, откуда днем уже видно море, хотя идти до него еще довольно долго. А оттуда по прямой.

Первый попавшийся ресторан был открыт. И посетители в нем были, дождь не помешал им приятно проводить время. «Еш сигарийот?» - хрипло спросил он, загнанный, взмыленный, наверное, с полубезумными глазами. С пачкой «Lucky Strike» он вышел из ресторана. Вышел уже вполне спокойной, никуда особенно не

торопящейся походкой. Теперь можно перевести дух. Минут двадцать пять средним шагом и он дома.

А как же море? Давно он уже собирался выйти к нему, посидеть спокойно, покурить, попрощаться. Но в последние дни все было не до того. И завтра, в самый последний день, тоже будет не до того. Значит, только сейчас. Но после дикого бега туда и назад настроение было совершенно неподходящим. Он уже сделал несколько шагов в сторону дома, как вдруг подумал: нет. Это его долг. Напоследок хоть одним глазком взглянуть. И он заставил себя вернуться. Вышел на набережную, поднялся по ступенькам. Перегнулся через кусты, посмотрел. Сплошная чернота. И вдруг узрел, среди кромешного мрака, накатывающий, зыблющийся пенный вал. Все. Это точно оно. Он видел его.

И он пошел домой, сжимая в кармане пачку «Lucky Strike». Прощание со Средиземным морем состоялось.

Последний взгляд из иллюминатора. Опять солнце. Край какого-то аэродромного строения, пальма. Вот и все. Целую маленькую жизнь он здесь прожил. Шума и ярости было много. Ладно, хватит об этом. Вздох.